

Аше Гарридо

Все истории



Аше Гарридо

Все истории. Кроме романов

«Издательские решения»

Гарридо А.

Все истории. Кроме романов / А. Гарридо —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-856838-1

Под этой обложкой собраны все истории Аше, кроме романов — в том числе и те, с которых романы начались, и те, которые жили себе отдельно, а потом романы заключили их в крепкие объятия. Так или иначе, все истории — здесь.

ISBN 978-5-44-856838-1

© Гарридо А.
© Издательские решения

Содержание

Хайле	6
Королева	14
Аудьярта, Беренгъера, Дианора	21
Козлоногий, козлорогий	37
Каспер	45
Здравствуй, Валерк	50
Шаман	52
Из трав и цветов	56
Семь городов	60
Десятый Фиванский	66
Бусики	69
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Все истории Кроме романов

Аше Гарридо

© Аше Гарридо, 2017

ISBN 978-5-4485-6838-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Хайле

Не знаю, где Хайле гульнул и с кем. И толку было бы знать? За ним водилось. Когда-нибудь этим и должно было кончиться. Есть вещи, которые происходят однажды и навсегда, то, что называют необратимыми процессами. Обвал начинается с одного камешка, Шалтай-Болтай, расплескавшись, не вернется в скорлупу – и другие столь же общеизвестные примеры. Вот нечто из этого ряда случилось и с Хайле. С той минуты он начал умирать.

Не говорите мне, что все мы начинаем умирать с той минуты, как родились. Вы же понимаете, что речь идет не об этом. Когда всеобщее обязательное среднее умирание принимает облик какой-то одной определенной болезни, от которой нет лекарств и не бывает случаев чудесного исцеления – вот тогда-то и становится страшно.

Я знаю. Мне как-то ставили диагноз. Другой, не тот, что у Хайле. Просто болезнь крови. Потом анализы оказались отрицательными – в общем, пронесло. Но тех дней, что мы ждали результата, мне хватило.

У Хайле в запасе было несколько лет кошмара. И он не хотел делить его со мной. Умник. Сначала он разыграл несколько прелестных сцен в духе «прошла любовь». Потом стал донимать меня больше обычного. Он-то знал, как вывести меня из себя. Несколько раз, признаю, ему удалось... Но, простите, даже такое тугодумное существо, как я, рано или поздно начнет задумываться, наблюдать и делать выводы. У Хайле плохо получалось изображать из себя дерьмо. Да, он слегка без башни, слегка эгоист, слегка самовлюблен. Не больше, чем любой из большинства. Но и статистика здесь ни при чем. Какие наблюдения, какие выводы? Мы просто любили друг друга. И что при этом можно друг от друга скрыть?

Пришлось прижать его к стенке и поговорить начистоту. Тут он во всем и признался, то есть не во всем, потому что мне удалось заткнуть ему пасть – не нужны нам были подробности. Может быть, наоборот, может быть, ему надо было выговориться. Но так еще достаточно тем для этого, а вот подробности... Ни к чему. Без подробностей всё выглядело почти мифологически, обретало черты древнегреческого рока. И почему-то мне казалось, что для него – тоже.

В общем, он сказал мне, что у него эта болезнь.

Честно? Вот вам честно: да, мне стало страшно в первую очередь за себя. Хайле это понял, конечно, или даже предвидел, потому что тут же стал просить прощения и уверять, что, как только узнал, так сразу... Ну правильно: последнее время то у него работа, то устал, то голова болит, то мы скандалим так, что не то чтобы прикоснуться – смотреть на него тошно. Умеет он сказануть такое – хоть душ принимай. А! Вот еще одно. Он всегда умел такое подумать, сам признавался, но вслух вылепить – ни-ни. А в последнее время разошелся. Это меня и насторожило. Не сразу, конечно, я же говорю, сначала он меня так доставал, вынимал, извлекал, что после всего, когда мы объяснились и поутихли, пришлось срочно заняться ремонтом дверей во всем доме. Есть у меня такая слабость: чуть что – дверям достается. Мне нравится этот грохот, штукатурка, сыплющаяся с потолка, скрип и скрежет выворачиваемых петель и косяков. Очень успокаивает.

Поговорили, значит.

«Я принес в дом смерть».

«Погоди еще».

Ну, так и вышло: ничего у меня не оказалось. Делали, конечно, и контрольные, и не один раз. Так ничего у меня и не оказалось.

Всё это, собственно, можно было бы и не рассказывать, потому что ничего важного в подробностях нет. Можно было сказать всего две вещи: мы любили друг друга – и он умер.

Да, и еще то, что у нас было много времени.

Однажды он сказал мне:

– Ниэсс, почему ты не говоришь об этом? Это ведь можно сделать. Деньги у нас есть. Кой тратить их на лекарства, если от смерти лекарства всё равно нет?

– Это ведь будешь не ты.

– Совсем чуть-чуть не я.

– Дружок, этих кукол делают сам знаешь зачем, а ты...

– Есть ведь очень дорогие модели с очень большим объемом памяти и восприятия. У нас хватит. Что мне нужно? Приличные похороны? Можешь выкинуть меня на свалку. Когда я схожу, честное слово, мне будет всё равно. Веришь? А у тебя буду еще раз я.

Да, это было возможно. И нам повезло к тому же: как раз тогда обнаружил и завезли пластиночки с Мемория, эти маленькие лепесточки, не больше ногтя, невесомые, готовые упорхнуть от малейшего сквозняка, розоватые, отливающие перламутром, и сквозь него – полупрозрачные.

Надо было только подышать на них и приложить к вискам, и они усердно занимались своим делом – вынимали душу, как говорил Хайле. Но душу они, конечно, не вынимали. Только копировали. До сих пор неизвестно, зачем они это делают и что им, собственно, нужно. Но после возни с громоздкой и капризной аппаратурой того же назначения пластиночки показались просто подарком. И производство андроидов расцвело, как никогда. Никто и не ставил своей целью копировать душу полностью, только набор необходимых рефлексов и реакций, и побоку всякие комплексы и синдромы: на это право имеют только настоящие люди, верно? А поганым роботам они ни к чему.

Вот об этом и была речь. Что Хайле будет не совсем Хайле, то есть совсем не Хайле, а как бы игрушка, похожая на него внешне (это достигалось элементарно) и способная развлекать меня. Дело еще вот в чем: на практике обнаружилось, что, вопреки фантастической литературе прошлого, человек не может устанавливать человеческие взаимоотношения с андроидом. Максимум – ну, вы сами понимаете... Что-то такое в них есть, что, даже если ты не знаешь заранее, то всё равно чувствуешь, что перед тобой подделка под человека. Они настолько чужие, что, чем больше сходства, тем более отталкивающее впечатление они производят. А вот пользоваться ими во вполне определенных целях это не мешает. Этого, собственно, никто толком не понимает, что бы там ни писали психологи. Пока ты не пытаешься принять андроида за человека, всё обстоит прекрасно. Но не более того.

И вот он предлагал мне сделать такое вместо него.

Невозможно было даже представить. Но он вбил себе в голову, что это меня утешит. Пришлось потратить горову гору денег на то, чтобы добыть пластиночки (их не пускали в продажу, по крайней мере, частным лицам), контейнер для пластиночек и прочее. Хайле всё беспокоился, что записи могут испортиться или еще что-то. И мы покупали все новые и новые контейнеры с девственно чистыми меморианскими пластиночками, дышали на них и прикладывали к вискам Хайле, в конце концов казалось, что он всегда и был таким – с двумя слюдяными бликами на висках.

Еще мы перечитали тонны специальной литературы, посвященной этому вопросу. И авторов прошлого века: Бредбери, Шекли, Саймака, Филипа Дика и других. Кларка, конечно, с его космонавтами. У нас была постоянная тема для приколов:

– Когда я буду андроидом...

– Это будешь не ты.

– Совсем чуть-чуть не я.

– Неправда.

– Не спорь со мной.

У меня не поворачивался язык сказать это по-другому. Не то что это будешь не ты, а то, что тебя-то уже не будет. На самом деле. Ты умрешь по-настоящему. Может быть, я утешусь

с этой куклой, муляжом (нет, не верю и не хочу). Но тебя не будет. Для тебя всё кончится с твоей смертью.

Повторяю: у меня и в мыслях не было осуществлять его безумную затею. Но надо же его как-то успокоить. Он чувствовал себя последней скотиной из-за своего, как он это называл, предательства. «Я бросаю тебя и ухожу, и всё горе останется тебе. А мне – только немного побояться. Ну, еще, конечно, умирать, но это кончится, и всё, а для тебя тогда-то и начнется. Надо было тебе со мной связываться?»

Нет, он не был ангелочком. Он мог такое залепить... Но не об этом сейчас речь. О том, что он понимал: что я буду делать без него? С ним бы то же самое было, если бы нам поменяться местами, поэтому он всё и понимал. Что тут понимать?

В общем, однажды он умер.

А пластиночки остались. Вы думаете, мне долго пришлось колебаться? Ни минуты. Просто невозможно жить, если Хайле нет. Так невозможно, что и думать нечего пытаться. Умереть? Может быть. Но если Хайле – вот он, пусть даже не весь, не настоящий, пусть даже... пусть всё, что угодно, вот он, заключенный в маленькие черные контейнеры, и никто кроме меня не вызовет его оттуда?

Денег у нас, и правда, было много. Многомерные картины Хайле продавались очень прилично, и последнее время, пока мог, он работал, как одержимый. С двойной, так сказать, целью: сделать всё, на что уже никогда не будет времени, и обеспечить свое дальнейшее существование. «Где твоя логика? Или дальнейшее существование – или не будет времени. Что-нибудь одно». – «Ты ничего не понимаешь», – ответил он. – «Вдруг рисовать я и не смогу?» Он сам тоже ничего не понимал. «Это будешь не ты». – «Совсем чуть-чуть не я». Где та мера?

У меня тоже было достаточно денег. Почти все они ушли на то, чтобы найти подходящую фирму, которая взялась бы за наш заказ. Тогда уже пошли слухи о грядущих запретах, слишком приближенные к человеку модели стали снимать с производства, а для частных лиц перестали изготавливать полнофункциональных андроидов, если вы понимаете, что я имею в виду. Спрос на них был большой: делай что хочешь, и никакой ответственности.

Но мы еще успели. Записей, сделанных нами, хватало с избытком. Неиспользованные пластиночки были схоронены в нашем саду под одним из живых деревьев. А остальные пошли в ход. Вот тут и вылезло: мне показалось неприемлемым наделить куклу памятью о болезни. Это было таким глубоко личным, только нашим, принадлежало только мне и настоящему Хайле. Мы пережили это вместе, и никто больше не мог разделить с нами те страдания. Они теперь дороже всего. Поэтому всё, что касалось болезни и смерти, было стерто.

А с другой стороны, мне не нравилось, что Хайле мог догадаться: он – не настоящий. Поэтому их инженерам пришлось потрудиться, а мне раскошелиться, но – вы не поверите! – у Хайле был даже пищеварительный тракт, правда очень примитивный, и пищу надо было предварительно сдабривать некоторыми ферментами. Но мы заранее придумали болезнь ЖКТ и симитировали некоторые симптомы для вящей убедительности. Зато в туалет он ходил по-настоящему. Ни один андроид этого не делал. Но ведь нельзя было, чтобы он понял, правда?

Так кем он все-таки должен был стать? Мне не хотелось делиться с ним нашей болью, но в то же время нельзя было допустить, чтобы он усомнился в том, что он и есть самый настоящий Хайле. «Кукла», – назывался он. «Хайле», – назывался он. Никакой логики.

Это был незарегистрированный андроид без номера и психотехнопаспорта. Мне привезли его в мебельной упаковке. Сначала показали его на складе готовой продукции и предложили, как они всегда поступают с незарегистрированными заказами, оживить его и доставить по адресу своим ходом (конечно, в сопровождении специалиста). Нет, нет и нет.

Тогда, еще не активированного, его привезли домой в мебельном ящике. По моей просьбе настроили на медленную активацию, аналогичную пробуждению от сна. Еще раз показали аварийную кнопку и проинструктировали, как ей воспользоваться.

И оставили мне его, спящего на нашей постели. Надо было надеть на него пижаму (ту, которую он сам выбрал для этого) и уложить его так, как он обычно спит: почти на животе, но еще на боку, одно колено под себя, вторая нога вытянута, рука обнимает подушку, другая вольно брошена перед собой. Во время этого одевания и перекладывания он теплел под моими руками, между волос на лбу выступил слабый пот. В какой-то момент мне захотелось остановить всё это. Надо было просто прижать маленький желвачок под кожей выше локтя. Эта кукла не имела права оживать, не имела права быть такой похожей на Хайле, не смела обманывать меня. Подтянуть рукав, нащупать пальцами уплотнение...

Этот... не знаю, кем он был для меня в ту минуту. Монстр Франкенштейна. Хуже. В общем, он дернулся, как от щекотки, приоткрыл туманные, сонные глаза и сварливо заявил:

– Тебе бы только одно. Может человек раз в жизни выспаться?

Кто спал до утра, кто и плакал. Правда. А утром мне стало наплевать на всё, понимаете? На всё.

Потому что это был Хайле. Умница, вредина, сексуальный маньяк, стерва каких мало, и потом потребовал кофе в постель, и конечно, сначала ему было слишком горячо, а потом сразу стало холодно, и сначала было не сладко, потом – «а всю сахарницу нельзя было высыпать?» Мы поругались. Двери грохали по всему дому, потому что этот тип таскался за мной хвостом и не давал остыть страстям, как он это любит и умеет: ты уходишь, а он тебе в спину, и остается рвануть дверь, рывкнуть в ответ и грохнуть ею из всех сил, иначе, не ровен час, достанется кому-то другому.

Но уже было ясно, что эту тварюгу ненаглядную я буду любить, холить и лелеять, чего бы это мне ни стоило.

Только за обедом он вдруг спросил:

– Ниэсс, а что было вчера?

– Как?

– Что было вчера? Я не помню.

– То же, что позавчера. То же, что сегодня.

Кое-как мы съехали с этой темы, не без новой порции уязвлений с его стороны. Всё было по плану. Конечно, он не мог со временем не обратить внимания на некоторые странности, но у нас была подготовлена версия, к которой, ради вящей убедительности, надо было подходить постепенно. У него были небольшие размытости в памяти, но всё списывалось на последствия автокатастрофы, в которой он якобы пострадал, отсюда же и болезнь желудка.

Вот так и пошло-поехало. Наш маленький дом-ностальжи из натурального дерева густо, медово наполнился счастьем. Оно было настолько в порядке вещей, что мы переставали его замечать. Словом, всё было как раньше. Даже ругань – куда ж без нее? Наверно, мы нарочно время от времени устраивали себе эти гонки, нарочно и понарошку, чтобы на самом деле такого не было. На самом деле такого и не бывало. Поймите правильно, всё выходило всерьез, до собирания вещей и, как уже упоминалось, хлопанья дверями (отдельным пунктом). Спустя какое-то время начиналось кружение по дому с неявной целью случайно встретиться, попереглядываться, повздыхать – и с этого, как правило, начинался хэппи энд.

Однажды он ворвался в мой кабинет с воплем:

– Что это, Ниэсс? Я сошел с ума?

В его руке трепыхался листок бумаги, исписанный его собственным – моего Хайле – почерком:

*Тебя моим ожогом жжжет и бьет моим ознобом.
Я умираю третий год, и мы устали оба.
Я верил: проще и нежней мы станем на прощанье,
бесценных предпоследних дней прозрачное звучанье
не исказит ни окрик злой, ни раздраженный шепот.
Двуручной ржавую пилой нам стал последний опыт.
И наболевшись чувства спят, как нарыдавшись – дети.
Я говорил, что без тебя не стану жить на свете.
И я тебя не обманул. Но смерти ожиданьем
я разделил одну вину – на два страданья.
И скоро кончится одно с моим последним сроком.
Тебя не обманул я, но – но предал ненароком.
И вот, за то, что буду жив и виноват недолго,
я стал капризен, зол и лжив, но, знаешь, – ненадолго.
И будешь ты уже не мной когда-нибудь утешен.
Но покидая путь земной, я снова стану нежен.
И мы тогда не вспомним слов, но вместе мы заплачем.
Поверь, что все еще любовь, и не иначе.*

– Что это, Ниэсс? Я не помню, откуда это. Я никогда не читал этого. Что это? Это же мой почерк, правда, Ниэсс?

Мне нечего **было** ответить, но ответить **было** необходимо. Спасла запасная версия.

– Дружочек, мне не хотелось тебе говорить... Мы ехали в Тампу и так получилось... Автокатастрофа. Мне – ничего, но ты же сидел рядом, а место рядом с водителем – самое опасное, ты же знаешь... У тебя было сильное сотрясение.

Получилось.

Самое странное, что никакого раздвоения в моем отношении к нему не произошло. Он стоял с этим листком, написанным другим человеком, то есть, черт, просто человеком, настоящим Хайле – и в то же время он и был тем самым Хайле, который написал и спрятал в библиотеке эти стихи, зачем, уж не знаю. Мне как раз его и хотелось об этом спросить, того, кто стоял передо мной, хотя ясно было, что он этого знать не может.

Может быть, со временем он понял бы больше. Может быть, он понял бы всё. Но пока обошлось. И мы жили, не заглядывая вперед, ни я, ни он, потому что нам было и так хорошо, прямо сейчас.

Тут и грянул запрет. Конечно, все средства массовой информации только об этом и вопили. Одни раздували грязные истории о сексуальной эксплуатации моделей с высокоразвитой психикой – как у частных владельцев, так и в сети публичных домов, другие настаивали, что такое решение – и не решение вовсе, что, раз уж выпустили джинна из бутылки, надо же понимать, что обратно его не загонишь, и лучше запретить производство андроидов вообще (только высокоразвитых моделей / только примитивных моделей / дать высокоразвитым гражданские права / демонтировать всех к такой-то матери / производить только примитивные модели). Обо всем этом дискутировали и раньше. Но только теперь эти проблемы попали в поле зрения Хайле. Сначала он фыркал: не знают уже, чем заняться. Потом завяз. С удивлением обнаружил массу литературы по теме в библиотеке.

– Умеют некоторые собирать хлам! Когда и откуда это всё взялось?

В общем, мы по новой перечитали Бредбери и Шекли, Саймака и Дика. И конечно Кларка с его космонавтами. Там есть одна сцена. Главный герой с андроидом находится в столовой, и для конспирации андроиду приходится сделать вид, что он ест. После андроид объ-

ясняет, что у него внутри есть такое приспособление, которое упаковывает абсолютно неповрежденную и стерильную пищу, и предлагает напарнику подкрепиться, если он голоден. Хайле скорчил такую рожу...

В общем, мы всё это перечитали. Только теперь рядом со мной сидел тот самый андроид, оказавшийся вне закона. То еще чтение на такой случай, скажу я вам. И андроид не подозревает о том, что его непосредственно касаются все трагические ситуации, выдуманные сто лет назад, когда человечество только примеривалось к будущему: как оно станет справляться с жутким раздвоением. Андроид, который уверен в том, что он – человек. Самый настоящий счастливый человек. Такой же, как я.

За ним пришли около полудня. Он заканчивал свою новую картину: «Выброшенные бурей на неизвестный берег». Там были изображены мы. Он не мог ничего знать, но он был – Хайле, и он всё чувствовал.

Представить себе только: сейчас ему скажут, что он – всего лишь подделка, робот, двойник, муляж возлюбленного. Заберут на демонтаж, повезут на склад, где сотни таких, как он. Не таких. Он – Хайле, мой живой Хайле, настоящий, любящий, уверенный в том, что он и есть единственный он.

Мне позволили самому сделать это. У меня давно был приготовлен подарок к его дню рождения – браслет из золотистых камешков с Пресьосы. Он всегда любил блестящие цацки. Наверху, в его мастерской, его рука доверчиво протянулась ко мне, и он закрыл глаза. Но мне хотелось еще увидеть, в последний раз, эти серые, самые серые в мире глаза.

– Хайле...

Он вытянул руку, любуясь камнями. Взять ласково, выше локтя, и чуть надавить, увидеть удивление в его самых серых в мире глазах – и прижать сильнее. Всё.

Три года спустя дверь со скрипом отворилась, впуская меня в мой – теперь уже только мой – дом-ностальжи из натурального дерева. Давно не топтанные половицы вздорно скрипели. Не знаю, зачем было жить. По инерции, наверно. Или затем, чтобы по полной оплакать теперь уже смерть. Да, под магнолией покоились контейнеры с пластиночками, но не было уже фирмы, которая взялась бы за наш заказ.

Дом остался за мной, и счета в банке, и акции «Спейс Транс» выросли значительно, но не было никого, кто решился бы произвести незарегистрированного андроида с расширенной памятью, высоким уровнем сознания и восприятия, полнофункционального и т. д. Всё. Теперь их место в космосе, на вредных для людей производствах, для которых их выпускали со специфическими характеристиками, повышенной резистентностью к неблагоприятным факторам, без комплексов и синдромов, а также без гражданских прав.

В доме всё заросло пылью и пустотой. Наверху под крышей перебегали легкие шорохи. Мыши. Ну, пусть. Что с того? Какая разница? Натуральные мыши в доме из натурального дерева. Мне нечего было делать в спальне, кабинете, библиотеке и его мастерской. Там еще стоял мольберт с «Выброшенными бурей», где мы лежали на черном песке неведомого берега, опутанные багровыми водорослями, отчаянно протягивая руки, едва доставая друг до друга кончиками пальцев. Еще вдвоем.

На кухне автомат соорудил мне ужин без затей – линия доставки продуктов активизировалась автоматически, едва закончился срок гражданской изоляции, как это теперь называлось. Даже виски – вот этого удовольствия мне не перепало в течение трех лет.

С полным стаканом в руке сидеть при свете вечеряющего окна и камина, в котором над имитацией дров пляшет неважправдашнее пламя.

Это был наш дом. Он всегда был только наш, мы выбрали проект и купили его вместе, еще до той истории, до болезни. Хайле нарисовал цветущий магнолиевый сад, и точно такой мы устроили на нашем участке, и даже несколько деревьев были подлинными и цвели

на две недели раньше остальных, мы специально так заказали. Мы дожидались цветения настоящих магнолий и устраивали праздник на двоих под белыми звездами восковых, фарфоровых цветов.

А теперь этот дом был мой.

По-настоящему меня все эти годы утешало только одно: на этот раз он не заметил, как умер. Хорошо. Думаю, первого раза ему хватило с лихвой.

Дождь наконец собрался, широкие листья магнолий задрожали, покрылись лаковым блеском, с них скатывались струи и били в подоконник (специальный заказ, в отличие от нынешних, он не поглощал стук капель, наоборот, делал их звонче), и в желтые плиты дорожки (дорога, мощеная желтым кирпичом, волшебник страны Оз). Потом он утих, в тучах немного поворчало, но гроза не решилась.

Всё стихло. Даже на чердаке (у нас в доме был настоящий чердак) перестали возиться. Темнело.

Смутное движение между ветвей и сумрак застали врасплох. Как привидение – темная напряженная фигура и белое лицо с закушенными губами. Дважды умерший, не имеющий права жить. Виски колом встало в горле, стакан выпал из пальцев и покатился по ковру, руки рванулись к раме. Это был он. Все равно который, мертвый или живой, настоящий или подделка. Не может быть подделки Хайле.

Рама со скрежетом оторвалась, взлетела, визжа, и сырость наполнила легкие, пряная сырость заброшенного сада. Теперь стало видно, что одежда на нем мокрая насквозь. Неизвестно, сколько времени он уже стоял здесь.

– Простудишься!

– Я?

Мы сидели на полу у камина, старая моя куртка, еще с наших походов в горы, укутывала его плечи, на голых коленях вздрагивали блики.

– Не верю.

– Как хочешь.

Он был готов уйти сию минуту. Не на чердак, где провел почти три года, дожидаясь меня, а куда угодно: в пустыню, добровольно сдать властям или что там еще.

Так его и отпустили.

– Как же ты всё это время?

– Никак.

– На чердаке?

– И в библиотеке. Мне там самое место.

– Но ты же не мог пользоваться доставкой. Что ты ел?

– А зачем мне? У меня ведь солнечные элементы.

– Да, правда.

– Кто я?

– Мне все равно.

– Я не Хайле.

– А кто же ты еще?

Ему было очень страшно, когда он очнулся на складе, среди сотен таких же, ожидавших демонтажа инактивированных андроидов, объявленных вне закона. Сначала он надеялся вот-вот проснуться, потом решил, что сошел с ума. Потом понял. Недаром мы читали Бредбери и Шекли, Саймака и Филипа Дика. И Кларка с его космонитами. И те стихи:

И будешь ты уже не мной когда-нибудь...

Просто был допущен совсем маленький, совершенно незначительный брак. Та самая кнопка. Она не сработала до конца. Он отключился на несколько часов. Очень редко, но так бывает. Один раз на миллиард, что ли. По крайней мере, такова вероятность. Меня предупреждали. Об этом всегда предупреждают, но никто не обращает внимания, естественно. Но вот как ему удалось выбраться?

– Друзочек...

– Хочешь, уйду.

– Дурак.

Он завожился, вылезая из куртки.

– Прости. Ты умница. Плевать мне на полицию, законы и всё, что там ни на есть. Никто ведь теперь и не узнает? Тебе придется прятаться.

– Если ты боишься...

– Я не боюсь. Я боюсь только потерять тебя.

– Кого меня?

– Тебя.

Тут мне пришло в голову...

– Хайле! Ты ведь не хотел возвращаться, когда всё понял?

– Всё – что?

– Ну, всё про себя.

– Скажи это как есть: понял, что я – робот. Ну, скажи. Слабо?

– Перестань.

– Слушаюсь.

– Прекрати! Если уж ты вернулся, значит, всё уже сам решил. Зачем изводить меня и себя?

– Ничего я не решил. Просто мне некуда больше было идти.

– Да. Конечно.

– Если бы сразу – не пришел бы сюда. А потом я сообразил, что тебя должны были упечь на эту... изоляцию. Ох, и свинья же я! Как ты-то?

– Да что мне сделается? Потом. Говори о себе.

– Ну я и пришел сюда. Перечитал тут всё про это. Понял, что года три как минимум спокойной жизни мне обеспечено. Думал, потом смоюсь. Но я с самого начала знал, что... Господи, да кто же я? Ниэсс, я не могу уйти, я не могу без тебя. Я же... люблю. Меня же так и сделали.

– Никто этого не делал. Понял? Тебе только сделали новые руки, ноги и глаза и всё остальное, а это, вот это самое, любовь и душа, – это всё твое.

Конечно, не сразу. Не сегодня и, может быть, еще не за этот год. Но я верю, я знаю, что смогу убедить его, заставить поверить, просто потому, что это и есть чистая правда – то, что он, вот именно он, кто бы он ни был – а он ведь Хайле и никто другой, – он единственный, кто мне нужен в мире, пусть даже только в книгах бывает, чтобы человек любил андроида. А у нас будет – любовь.

И не иначе.

Королева

Эту сказку Дастину Питту во времена его молодости рассказывала одна благородная дама. И много-много лет спустя сам генерал Питт рассказывал эту сказку своим внукам: все в точности, слово в слово, а для этого пользовался нехитрым приемом. Он представлял костер, разложенный на расколотых плитах, еще хранящих следы замысловатой резьбы, закопченные стены и теряющуюся в темноте над головой громаду замка. Кое-где в прорехи кровли заглядывают звезды, такие большие, что в каждую прореху помещается только одна. И сам он, молодой, но уже кому надо известный (и кому не надо, увы). И прекрасная дама напротив, ее юное лицо, озаренное золотым огнем, кое-где отливающий серебром сантиметровой ежик темных волос, высокая шея, царственно выступающая из грубого ворота тюремного халата, спокойные руки над огнем.

Питт получил новое задание, едва вернулся из Уйлистана, где с группой Ларсена сильно испортил настроение кое-кому, ладно уж, не будем вдаваться в подробности. Рыжий способен углядеть разглашение своих топ-секретс даже в раздумьях над детской кроваткой. Пусть его! Из Уйлистана, значит... А до этого три месяца вместе с Андреем они наслаждались незабываемым ароматом сжигаемой кожи на горных плантациях в Нуэва-Галилеа. Андрей решил остаться там, а Дастин хотел карьеры – стремительной и блестящей. Рыжий ему это обеспечил. Как говорил – и до сих пор, слава Богу, говорит! – Эндрю, за что боролись...

Задание было более чем необычным, но Питт других от Рыжего и не ожидал. Смущало, что оно было абсолютно «не в тему». Только у Рыжего, как понял Питт несколько позже, в тему абсолютно все на этой планете. От эксплуатации детского труда в Юго-Восточной Азии до условий содержания заключенных в СССР. От вспышки чумы в Калькутте до восстановления абсолютной монархии в Хеоли. Абсолютная монархия, вы вслушайтесь, как это звучит! Между прочим, с выстрела в Сараево прошло около ста лет... Да и, кстати сказать, борьба с наркомафией является всего лишь основной задачей организации. Всего лишь, и Рыжий неоднократно это подчеркивал.

А новое задание от Рыжего заключалось всего-навсего в том, чтобы встретить в условленном месте группу вооруженных людей, принять от них ценный груз, каковой представляет из себя женщину двадцати лет от роду, около пяти футов росту, брюнетку, глаза зеленые, хеолийку. Приняв же этот груз, Питт должен был сопроводить даму до развалин Бруски и там дожидаться подхода другой группы, на этот раз из местных. Передав им даму, Питт мог приступать ко второй части задания, более сложной и протяженной во времени. Андрей, срочно вызванный из Новой Галилеи, должен был к этому времени присоединиться к нему.

– Что же, я должен просто посидеть с ней до утра в развалинах старой крепости? Она темноты боится?

– Да, именно так. Развлечешь ее беседой, угостишь коньяком. Ну, не тебе объяснять.

– А почему, собственно, я? Пошлите Джегерта, он душевный.

Собственно говоря, этот диалог не состоялся. Во-первых, с Рыжим спорить бесполезно. Во-вторых, откуда и вытекает первое, если Рыжий считает, что Питт должен пойти и сидеть с дамой до утра в развалинах старой крепости, это значит, что Питт пойдет и посидит с дамой в развалинах до утра.

За ними должны были прийти перед рассветом, и Питт подавлял в себе желание то и дело взглядывать на часы. Он и так знал время, но рядом с ней ощущение мира было иным, и он боялся ошибиться. К тому же, положив руку на сердце, никогда прежде он так не переживал за исход операции.

Он предложил даме куртку, и она с благодарностью приняла, но и она, и сам Питт понимали, что он сделал это больше для собственного успокоения: она вовсе не мерзла. А руки над огнем – скорее благодарная ласка костру. Так же, как принять куртку у Питта.

– Я немного волнуюсь, – смущенно опустив прозрачные ресницы, сказала она. – Я понимаю, что вам надо прислушиваться...

– Нет-нет, – поспешил сказать Питт. – Вовсе нет. Здесь мы в безопасности.

– О да, конечно, – она улыбнулась, и Питт понял, что она имеет в виду нечто совсем другое. Ее взгляд вспорхнул к звездным прорехам, но тут же вернулся к спутнику. – Но все же... если это можно, давайте я расскажу вам историю, связанную с замком. Это ведь Бруска, замок королей.

Питту ничего не оставалось, как с благодарностью принять спасение, предложенное ею.

– Замок королей? Я полагал, королевская резиденция находилась в Астамине.

– Когда еще самой Астамины не было, и вся Хеоли была – вот эта полоска морского берега, позади Великий лес и с двух сторон горы... Как сейчас. Только тогда они не принадлежали Хеоли. Можно я расскажу?..

– Я буду счастлив, мадонна.

– А мне это даст возможность отвлечься. Слушайте.

Давно-давно, когда вся Хеоли – она и нынче невелика – была вот этой полоской берега, прижатой к морю Великим лесом и с двух сторон охваченной Синими горами и Черными горами, в Бруске жил молодой король. Он был так молод, что только мудрость и опыт советника Арсенио Гоасса, преданно служившего еще королю-отцу, могли быть ему надежной опорой. И молодой король, а он был совсем не глуп и не легкомыслен, хоть и молод, во всем слушался Гоасса и полагался на него. И все в королевстве было благополучно. Одна была причина для беспокойства, или лучше сказать, что их было три, но одинаковые. В королевствах Великий лес, Черные горы и Синие горы не жилось спокойно королям оттого, что на всем побережье на много лей только в Хеоли были удобные гавани. И горные короли с башен своих замков высоко в самых тучах жадно выглядывали и считали каждый купеческий корабль, идущий в Хеоли. А лесной король считал каждую монету, которая доставалась Хеоли оттого что гавани принадлежали ей. Но не об этом пока речь. Им ведь еще следовало договориться между собой, а кто заранее считает и делит то, что ему не принадлежит – о, как трудно им договориться!

Год шел за годом, король еще был молод, но уже пришло время появиться королеве. Об этом, что ни день, твердил советник. И это был единственный совет, которого король слушать не хотел. Ему и так очень неплохо жилось.

Нет-нет, он не был легкомыслен, и столько же радости ему было держать совет с опытными, умудренными мужами, сколько гнать оленя сквозь чащу и, нарочно заплутав, остаться на ночлег в крестьянском домишке, где молодое вино сводит рот кислиной, а у хозяйской дочки глаза, как зеленые виноградины.

Но советник сказал: «Королевству нужен наследник». – «Так скоро? Чем я не угодил тебе, Гоасс? – хотел отшутиться король, но не смог. – Хорошо. Ты выберешь мне королеву?» – «Если угодно вашему величеству».

Дама поправила куртку на плечах, лукаво улыбнулась Питту.

– Знаете, как сватали принцесс в те времена? Отправляли посольство – и привозили портрет предполагаемой невесты. По портретам и выбирали. Но наш король имел все основания не доверять художникам. И сватовство откладывалось раз за разом, несмотря на то, что Гоасс, как мог, старался внушить королю: не так велика, богата и могуча Хеоли, чтобы нам перебирать невест. Какая ни согласится – и на том спасибо.

Наконец советник потерял терпение. «Если все дело в том, что ваше величество не полагается на честность художников, то позвольте мне самому отправиться на поиски невесты». Король понял, что дальше тянуть невозможно, и дал свое согласие. И не только согласие. Он дал слово советнику, что немедленно женится на той невесте, которую Гоасс ему привезет. Только попросил его не слишком торопиться. «Выбирай, как если бы ты выбирал для себя», – напутствовал советника король. «Нет, ваше величество, – возразил советник. – Я буду намного придирчивее и осммотрительней, чем когда-то!»

Потому что женился он очень молодым – и в женихах ходил всего полдня.

Снарядили корабль, и советник простился со своим королем, и уплыл. Три года не было от него никаких известий, и король уже подумывал, что пора ему самому поискать невесту (теперь, когда не было рядом советника, не на кого было переложить ответственность, и король думал и поступал очень благоразумно). Но все еще специальные посыльные встречали в гавани каждый корабль и должны были немедленно доложить в замок о возвращении посольства.

И пришел день – посыльный примчался в замок, трубя в рог, и, едва донеслись его звуки, поднялся переполох, а король растерялся. А как только собрался с мыслями, сейчас же сел на лучшего своего коня (а коней в Хеоли привозили из-за моря, сарацинских) и выехал навстречу невесте.

Первым делом он увидел множество дам, прибывших вместе с нею. Столько красавиц сразу и в Хеоли не часто увидишь, и король удивился. Но еще больше удивился он, когда с корабля сошла сама принцесса. На ней было надето тяжелое платье, сплошь затканное золотым узором и расшитое жемчугом, и длинные, до земли, рукава его скрывали руки невесты, а шлейф тянулся на пять шагов следом. И еще на ней была вуаль из золотых нитей, такая частая, что лица невесты король разглядеть не мог. К волосам вуаль была прикреплена золотыми булавками. Король ловко выпрыгнул из седла и сделал несколько шагов ей навстречу, а она стояла, и король мог только предполагать, что она смотрит на него. Когда подошел ближе, он протянул руку, чтобы поднять вуаль, но принцесса отвела его руку и ясным голосом сказала: «Только тогда, когда вы станете моим мужем, ваше величество». Король испуганно посмотрел на советника Арсенио, который стоял позади невесты. Но у того лицо было спокойно и строго. Ведь король дал слово и нарушить его не мог. «Хорошо, – сказал советнику король. – В тебе я уверен. Если эта женитьба и не принесет мне счастья, несомненно, она принесет пользу Хеоли». И советник кивнул.

Прямо из гавани они отправились в церковь и тут же обвенчались. А в замке немедленно устроили пир. Столы ломились от яств, множество музыкантов играли музыку для веселых танцев и пели праздничные песни, и было очень-очень весело. Но теперь король не торопился отвести вуаль от лица королевы. Более того, он и вовсе не хотел делать это при всех. Вы, конечно, уже поняли, что он боялся. Но за страх наказание – сам страх, и пусть он боится все долгие часы, пока продолжается пир, а нам вовсе не обязательно делать это

вместе с ним, мы поторопим наш рассказ, и вот: пир окончен, и король ведет свою королеву в брачный покой.

Все же он был истинный сын Хеоли. Клянусь, я в нем уверена: что бы он ни увидел, ему достало бы мужества одарить новобрачную улыбкой и поцелуем. И он отважно улыбался, приподнимая тяжелую золотую вуаль. Но королева проворно вскинула руки, выдернула булавки, качнула головой... Вуаль соскользнула с ее волос, и улыбка на лице короля стала растерянной, беспомощной и немного глуповатой – как у любого, кто готовился бы принести жертву, а получил дар. Королева была прекрасна. У нее было белое-белое лицо и шелковый румянец, нежные улыбчивые губы, глаза, похожие на доверчивые цветы... А еще у нее были синие-синие волосы. Поверьте мне, это чистая правда. Если бы здесь было светлее, я показала бы вам фреску, на которой изображена королева Гедвига Синяя Роза. Если она уцелела, конечно... Вы мне верите?

Дастин кивнул. Эти дамы не лгали даже в сказках. И никто никогда не мог заставить их сказать то, чего они не хотели говорить.

– Тогда я продолжаю, – улыбнулась она.

– Еще глоток коньяка, мадонна?

– Благодарю вас. С удовольствием.

Он протянул фляжку, и когда ее рука потянулась над огнем навстречу, стали заметны поперечные рубцы у запястья. «От проволоки», – легко определил Питт. – «Прошлогодние». Он добавил еще несколько слов, но даже про себя в ее присутствии решился только неразборчиво пробормотать их. Как бы просто вспомнил, что такие слова бывают на свете, но, конечно, в другое время и в другом обществе.

– Итак! Король женился, король был счастлив. Ах, как я не права! Они оба были счастливы, король и королева, ведь им повезло полюбить друг друга. Но их счастье было недолгим. Соседи-короли сумели-таки сговориться на том, что сначала надо захватить добычу, а потом делить ее. При этом каждый, конечно, думал, что делить ничего ни с кем не будет... Ну, вы ведь понимаете, как это бывает! Но не об этом теперь речь. Напали-то они все вместе.

И первым с войском отправился навстречу врагу Гоасс. Вскоре примчался гонец, весь израненный, и доложил, что войско разбито, а советник погиб, и враги приближаются к Бруске. Тогда король собрал второе войско, куда меньше первого, и выехал впереди него. Вслед ему с высокой башни смотрела его королева. Там, наверху, возле неба, она и ждала его. Даже когда увидела одинокого гонца, скачущего во весь опор к Бруске, она не спустилась с башни. Крикнула ему оттуда: «Если погиб мой король, не медли сообщить мне об этом, ибо и так уже я пережила его намного!» – «Нет, король не погиб, но он ранен и в плену!» – был ей ответ.

Питт успел заметить, как дрогнули брови и губы, и напомнил:

– Скоро. Уже скоро.

Дама благодарно кивнула, сделала маленький глоток из фляжки и улыбнулась.

– Вы ведь уверены, что все получится?

– Ровно настолько, чтобы заниматься этим.

– И вы сами пойдете за ним?

– Да. И мой друг.

– Я рада, что именно вы.

Питт почувствовал себя очень неловко. Надо было сказать что-то вроде «я ничем не лучше других», но, с одной стороны, он знал, что лучше, и знал, что она знает, а с другой, он чувствовал себя, как рыцарь, которому повязала шарф дама его сердца, – глупее не бывает...

– Простите, – сказала она.

– Осталось всего несколько дней, – сказал Питт. – Он сам не согласился бы, чтобы его очередь была первой. Поэтому сначала – вы...

– Конечно. Дальше?

– Да. Прошу вас, мадонна, продолжайте.

– Тогда она оделась в простую одежду, закуталась в плащ и ушла из замка. Вы догадываетесь, конечно, что она отправилась искать короля, но как? Хорошо, что все это было так давно, когда жили феи – злые и добрые. Когда королева прошла ровно столько, чтобы смертельно устать и потерять всякую надежду, ей навстречу из чащи вышла старуха. Такая страшная, что Гедвига испугалась. У старухи были мутные желтоватые глаза, морщинистая кожа, больше всего похожая на пемзу, всклокоченные седые волосы, беспорядочными космами окружавшие ее трясущуюся голову. И когда старуха заговорила, голос ее оказался похожим на змеиное шипение, на кабанье хрюканье и на рев дикого быка сразу.

– Все ищешь своего короля? А я вот знаю, где он, да не скажу!

Как ни умоляла ее Гедвига, все было напрасно.

– Чем ты мне заплатишь? Где твое золотое платье, и жемчуг, и корона? Разве ты думаешь, что я скажу тебе это просто так?

– Чего же ты хочешь?

– Отдай мне свои синие волосы, и я покажу тебе дорогу.

– Только-то? – воскликнула Гедвига. – Бери, если можешь.

И у старухи стали ее синие волосы.

– Что тебе скажет твой король, когда ты найдешь его?

– Не за это он любит меня, – ответила Гедвига и побежала по тропинке, которую указала ей старуха.

И тропинка привела ее к краю глубокой пропасти, окружавшей одинокую скалу, а на скале стояла черная башня. «Как же мне перебраться на скалу?» – подумала Гедвига. И тут же услышала за спиной знакомый ужасный голос:

– Что ты дашь за мост, который я для тебя построю?

Гедвига рассмеялась:

– Называй цену!

– Твои белые, белые руки, твое белое, белое лицо, королева, – вот цена переправы. Ну как?

– И только-то? Бери!

И у старухи стали ее белые руки и ее белое прекрасное лицо. Ужасным взглядом смотрели с него мутные желтые глаза.

– Как встретит тебя твой король, когда ты доберешься до него?

– Я посмотрю ему в глаза, и он увидит мою любовь, – беспечно бросила Гедвига, вступая на мост.

Но когда она подошла к башне, то увидела, что на двери висит огромный замок. Королева дотронулась до него и задрожала, такой он был черный и холодный.

– Сколько стоит ключ? – крикнула она.

– Совсем немного, – откликнулась старуха, которая была уже тут как тут. – Разве он не стоит твоих синих глаз? Или это для тебя дорого?

Гедвига пошатнулась, но стиснула зубы и помотала головой.

– Бери, – сказала она, не глядя на старуху. И в тот же миг замок рассыпался черной пылью, и двери распахнулись. Не оглядываясь, Гедвига ворвалась в башню и кинулась вверх по каменной лестнице, оступаясь, падая, задыхаясь. Она разбила колени и исцарапала руки, а там, где ступени обвалились, ей приходилось карабкаться вверх наощупь, потому что в башне было темно. И вот она взошла наверх и увидела своего короля. Он лежал на гнилой соломе, на которой засохла кровь из его ран. Из маленького окошка на его лицо падал свет,

и королева увидела, как он бледен. Гедвига кинулась к нему и схватила за руку, но рука была чуть теплой. Он только раз вздохнул, не открывая глаз, и больше не дышал.

– Ну что же, – услышала Гедвига ужасный хрип. – За самое дорогое я прошу совсем дешево. Отдашь ли ты свой ясный голос за жизнь этого мужчины?

– Он мой муж, и ты можешь взять, что хочешь, – равнодушно сказала Гедвига. – Пусть... – и она испуганно замолчала, потому что голос ее чудовищно изменился. Гедвига поднесла руку к глазам, взглянула на грязную, сморщенную кожу, обернулась. Перед ней стояла красавица: синеглазая, белолицая, волосы дивного цвета, словно плащ, покрывали ее с головы до ног.

– Сейчас он очнется, – сказала красавица ясным голосом. – Уходи скорее, а не то он испугается тебя.

И засмеялась. От звука ее голоса король как бы проснулся и открыл глаза.

– Что со мной? Это бред. Не может быть. Ты ли здесь, королева моя? – и он сел, и не видно было, чтобы раны беспокоили его. Гедвига вся задрожала и прижала ко рту свои морщинистые руки. Та, другая, делала ей знаки, чтобы она уходила скорее.

– Я здесь, мой муж и мой король, – отвечала ему другая. – Встань, иди ко мне, возьми меня за руку, покинем это ужасное место. Уведи меня отсюда!

Король беспомощно озираясь, сидя на полу. Глаза его смотрели сквозь красавицу, не замечая ее. Но Гедвига не видела этого. Она тихо-тихо отвернулась и пошла к лестнице. По ее морщинистым щекам неостановимо текли слезы.

– Куда же ты?! – вдруг вскрикнул король. Он вскочил на ноги и в два прыжка догнал ее. – Куда ты уходишь? – он схватил ее за плечи и повернул к себе. – Ну да, это ты. Как ты нашла меня?

И он...

Краска залила щеки дамы, и она робко взглянула на Питта.

– Так каждый раз, представляете? Он просто поцеловал ее, а я чувствую, что не могу говорить об этом. Как будто это настолько... настолько огромно и в то же время...

Питт смущенно пробормотал в ответ нечто, потом, осмелившись, дружески коснулся ее руки. А разве не он недавно нес ее на собственной спине, чтобы ее следов не осталось на влажном грунте ночной дороги?

– Еще несколько минут... – сообщил он, снимая с колен «узи». – Пора собираться.

– Да-да, – встрепелась дама.

– Но все-таки – как они вернулись домой?

– Они не возвращались.

– Значит, царствующая фамилия...

– Нет-нет, что вы! Следующим королем Хеоли был сын Гедвиги Синей Розы.

– А как же завоеватели?

Дама рассмеялась:

– Это же Хеоли! Завоеватели перебили друг друга, и Раймундо II правил уже всеми четырьмя королевствами: Хеоли, Эль-Боске, Монте-Негро и Монте-Асуль. И династия ни разу не прерывалась. Ведь у нас принято наследование по женской линии, равно как и по мужской.

– И значит... – начал было Питт. Но тут четыре силуэта выступили из тени и бесшумно придвинулись к костру. Высокие, широкоплечие, оружие в крепких руках, лица скрыты масками.

Дама стремительно поднялась, следом вскочил Питт. Черные фигуры сложились и припали к земле, и Питту предстала одна из самых удивительных картин, какие он видел в жизни: четверо вооруженных мужчин преклонили колени перед юной женщиной в тюрем-

ной одежде. Он колебался, но не присоединился к ним: не его дело, не ему честь – преклонять перед ней колени. Он – чужак здесь. Но не так думала она.

Уходя, она сказала:

– Я буду за вас молиться.

И долго внимательно смотрела ему в лицо.

Один из четверых заволновался:

– Пора, ваше величество.

– Спасибо, – она повернулась и пошла между ними.

Питта ничуть не удивляло, что с ним так никогда ничего страшного и не случилось, а что случилось, обошлось.

Аудьярта, Беренгьера, Дианора

События, описанные в этой истории, произошли лет пятнадцать спустя после первого нашествия мавров, которое, как известно, было отбито, а неверные – изгнаны из пределов Хеоли, но в Андалусии они оставались, и лишь долгое время спустя королям Кастильским удалось их выгнать восвояси.

А тот проход в горах, через который только и могло пройти вражеское войско, был перегорожен крепостью, прозванной «Не-дальше», а ущелье стало называться Запертой дверью.

Замок герцога Барасса находился в двух неделях пути от Запертого ущелья. Стоял конец апреля, время помолвок и свадеб. И в замке со дня на день ожидали прибытия жениха.

В благородной семье Барасс выросли две дочери: Аудьярта и Беренгьера. В один и тот же день им обоим исполнилось по семнадцать лет, и считанные дни оставались до венчания одной из них и отъезда в монастырь другой. Как бы не перепутать, венчаться должна была Аудьярта, а идти в монастырь – Беренгьера. А перепутать так легко! Если поставить благородных девиц рядом, волей-неволей будешь переводить взгляд с одной на другую, пока не закружится голова. Раньше можно было легко различить барышень: одна, кажется, Аудьярта, молчаливая, с мечтательным, отрешенным взглядом, погруженная в себя – или во что-то большее себя; другая, видимо, Беренгьера, с зелеными искрами в глазах, с невинной и обольстительной улыбкой, рассыпающая золотой смех...

Теперь же, после того, как накануне вечером бросились в ноги дому Уго Барассу, своему отцу, и умоляли его переменить решение, но получили строгий отказ, стали девицы одна другой удрученнее и молчаливее. Трудно сказать, кто из них бледнее и печальнее: Аудьярта, которой не позволили идти в монастырь вместо Беренгьеры, или Беренгьера, которой не позволили вместо Аудьярты выйти замуж за светлого рыцаря по имени Гвидо, носившего одну из благороднейших в Хеоли фамилию Гоасс.

Накануне свадьбы печальные сестры сидели у окна в покоях Аудьярты. Перед Аудьяртой стояли большие пальцы, проворная игла поблескивала в ее пальцах. Беренгьера, облокотясь на подоконник, глядела вниз, нервно крутя белый веер, сделанный в виде флага, дорогой, привозной – венецианский. Духота и в самом деле стояла необычайная.

– Будет гроза... – полувопросительно протянула Беренгьера.

За ее спиной Аудьярта, не отрываясь от работы, пожала плечами.

– Пора бы.

– Ну Аудьярта же... – внезапно оттолкнувшись от подоконника, обернулась младшая к старшей. – Ну сестрица... Это же так просто!

– Нет, – грустно, но непреклонно отвечала сестра, не остановив ни на мгновение мелькания иглы над пальцами.

– Почему же нет?! Аудьярта! Никто и не заметит!

– Нет.

– Посмотри на себя. Чем ты занята? Да если б завтра моя свадьба – разве я колола бы пальцы иглой? Да я бы пела! Я бы плакала! Я... что угодно, но только не так, не так как ты! Зачем тебе Гвидо? Ты его не любишь и он тебя не любит.

– А разве тебя он любит? – рассеянно спросила Аудьярта, не замедляя стежков.

– Зато я его люблю! – пылко воскликнула Беренгьера. – И он полюбит, он полюбит меня, если станет моим мужем. Разве можно меня не любить? Разве сможет мой муж не любить меня? Аудьярта! Знаешь ли ты, как я его люблю? Если ты не согласишься сделать, как я говорю, если ты пойдешь под венец с Гвидо – я убью тебя!

И рыдая Беренгьера уронила голову на подоконник. Веер выскользнул из ее руки и, кувыркаясь, полетел вниз. Аудьярта отложила вышивку, встала и подошла к сестре, нежно обняла ее за плечи.

– Послушай меня, любимая сестрица. Я совсем не хочу идти замуж за Гвидо. Но мы вместе вчера умоляли отца, скажи, разве твои мольбы были жарче и отчаяннее моих? Я не хочу замужества и была бы счастлива только в монастыре, но я не могу вступить в святую обитель, нарушив волю отца, а тем паче – обманом. Такое приданое я не принесу моему возлюбленному.

– Ты дура, – сказала Беренгьера, не поднимая головы, но уже не рыдая. – Ты ни себе, ни мне не дашь обрести счастье. Дура.

Тут она стремительно поднялась с кресла и быстрым шагом пошла прочь. У двери Беренгьера обернулась и твердо сказала, глядя сестре прямо в глаза: – Запомни: женой Гвидо буду только я.

Аудьярта проводила сестру растерянным взглядом.

Веер, выпавший из руки Беренгьеры, упал прямо к ногам Фаусто. Фаусто был стремяным Гвидо Барасса. Он вместе с рыцарем провел два года в крепости «Не-далее», и Гвидо отличал его среди слуг и не раз думал о том, что, родись Фаусто рыцарем, о лучшем товарище нельзя было бы и мечтать. А сколько раз они друг другу были обязаны жизнью, господин и слуга не считали.

Фаусто стоял под окном, так, что барышням сверху его не было видно. Он давно так стоял.

Он был влюблен в младшую, но даже если бы не был назначен ей постриг, Фаусто ни словом, ни взглядом не решился бы выдать себя. Кто был он? Всего лишь слуга своего господина, придерживающий стремя его коня. А кто она? Благородная барышня, сестра невесты его господина.

Но кто запретит любоваться дерзкими зелеными глазами и алым смеющимся ртом? И черными кудрями, тугими и блестящими, подпрыгивающими по сторонам лица при каждом шаге, стремительном, летящем? И гибким станом, стянутым вышитым поясом? Ах, если бы он смел мечтать, он придумал бы, что увезет Беренгьеру далеко-далеко... Был в Хеоли (и до сих пор сохранился) такой обычай, приводивший в бешенство отцов, но свято соблюдавшийся (при молчаливом попустительстве матерей): если отвергнутый родителями жених увозит невесту и в течение месяца успешно скрывается от розысков и погони, то спустя месяц, вернувшись с девицей в дом ее родителей, получает благословение вести ее к венцу. Это было все, что осталось со временем от старинного права хеолийских женщин самим выбирать себе мужей. Воспользоваться этим остатком права могла любая девица – хоть бы и наследная принцесса. Вся штука заключалась в том, что на поиски беглецов поднималась вся Хеоли. Тот, кто проходил испытание успешно, признавался достойным породниться с любой самой знатной семьей. Фаусто был уверен, что смог бы.

Но...

Но все это могло произойти только с согласия девицы. Разве Беренгьера согласилась бы?

Беренгьера была надменна той естественной, непринужденной надменностью высококородной барышни, которую и надменностью-то не назовешь. Это скорее – неспособность заметить того, кто не принадлежит к ее миру. Если бы Фаусто и решился открыть ей свою любовь, Беренгьеру это удивило бы безмерно. Ведь рыбы не влюбляются в птиц, так и они с Фаусто принадлежали к разным видам. С ее точки зрения, конечно.

А Фаусто, как сказали бы в прежние дни, чьим бы ни был сыном, Бог дал ему наружность красивую и приятную, а сердце благородное, от какого всякое благородство и проис-

ходит. Но он поступил некрасиво: вместо того, чтобы вернуть дорогой привозной шитый серебром и жемчугом веер барышне или хотя бы отдать его барышниной служанке Лойзе, Фаусто повертел его в руках, повертел, да и сунул за пазуху. И решил, что будет носить его там всегда.

Не говоря уже о ее любви к Гоассу, нельзя было представить инокиню менее подходящую к своему месту и предназначению, чем Беренгьера. А Гвидо она любила всегда. Их семьи были в родстве, которое старательно поддерживали из поколения в поколение, и владения их граничили между собой. Барышни Барасс и наследник Гоассов с детства проводили друг с другом немало времени, вместе участвуя во всех увеселениях, приличных молодежи их положения: в зимних охотах, пирах и танцах на Святки, весеннем празднике цветов, летних прогулках и соколиной охоте. Когда молодой Гоасс стал ездить на рыцарские состязания, Беренгьера как по волшебству становилась молитвенницей прилежней сестры – за его успех. И никогда так усердно не молилась Беренгьера, как в те два года, которые Гвидо Гоасс провел в Запертом ущелье, в крепости «Не – дальше»...

Видно, хранили Гвидо ее молитвы, да сердца его не уберегли. Вернулся он, хоть живой и здоровый, тот да не тот. Раньше, к неудовольствию старших, без устали напоминавших, что это Аудьярта предназначена ему в супруги, он все время проводил с Беренгьерой. Как старшие догадывались об этом, если сестры так похожи? – спросите вы. И догадываться нечего. Зайдите в часовню, подойдите к молящейся, спросите: «Кто ты, дитя?» – и услышите в ответ: «Аудьярта». Значит, гуляет по саду рука об руку с сестриным женихом никто иная как Беренгьера. И сколько раз младшая просила старшую: «Что тебе стоит? Не хочешь лгать, так хоть смолчи. Притворись, что за молитвой не слышишь...» Все напрасно.

Но когда вернулся Гвидо с войны, все изменилось. По несколько месяцев не навещался он в замок Барассов, а если приходилось – избегал оставаться с Беренгьерой наедине. А вскоре и вовсе вернулся в крепость. Между тем назначенный задолго день свадьбы приближался. Стала Беренгьера просить сестру: «Ты пойди в монастырь, а я – под венец с Гвидо». Но Аудьярта отвечала: «Нельзя. И вам счастья не будет, и мне... Терпи, что родительской волей назначено».

Но часто, пробравшись ночью в спальню к сестре, Беренгьера заставляла ее в слезах, и как будто сестра разговаривала сама с собой.

– С кем ты? – спрашивала Беренгьера.

– С моим возлюбленным.

– Кто он?

Аудьярта обращала к сестре сияющий кротостью и счастьем взгляд, как будто слепой, но скорее – не способный воспринять то, что перед ним, из-за наполненности тем, что из него лучится. Беренгьера, не дождавшись ответа, принималась за уговоры. И под утро уходила ни с чем. Нельзя ведь считать чем-то такой вот ответ:

– Он мне не велел.

– Кто – он?

Сияющий взгляд.

Нынче ночью она снова кралась по темному коридору, высокому, пустому и гулкому.

В темноте розовато светилась маленькая ладонь, прикрывающая огонек свечи от сквозняка, вздрагивающий, дышащий свет плясал на хмуром лице, высоко вскидывая тени от ресниц, мерца в темных зрачках.

За толстыми стенами замка, над горами, в небе кто-то огромный ворочался, погромыхая, но гроза все не могла собраться. К ночи духота стала невыносимой, а больше всего страдали те, кто и так страдал от бессонницы. Беренгьера, например.

Беренгьера подкралась к двери в сестрину спальню, присела на корточки и прижалась лицом к замку, одним глазом, а после другим. Ничего не разглядев, припала к прорези замка ухом.

– Посмотри на меня, любимый, – услышала она дрожащий, торопливый голос Аудьярты. – Как мне без тебя? Я так мала и неразумна. Я так слаба и не в силах отличить хорошее от дурного, или различаю слишком поздно. И каждое мое намерение таит в себе дурное зерно. Едва ты оставляешь меня на мое собственное разумение, я запутываюсь, а стоит мне сделать самую малость правильно, я тут же начинаю гордиться. А когда замечаю это – горжусь вдвойне. Мне не справиться с собой. Если ты не будешь следить за каждым моим шагом, за каждой моей мыслью, за каждым биением моего сердца, если ты не защитишь меня от меня самой – я погибну. Ты знаешь, любимый, я готова ответить «да» каждому соблазну, и только стыд перед тобой удерживает меня. Но я не могу доверять себе. Это правда, что тебе нужно совершить чудо, чтобы сохранить и спасти меня. Я боюсь себя, любимый, и только ты, только ты... Ах, если бы ты не был со мной днем и ночью, что стало бы со мной?! Но ты знаешь, как порой я пытаюсь спрятаться, укрыться от тебя, как будто это возможно. Ты знаешь, что порой мой рот разрывают слова: «Отвернись от меня! Не смотри на меня! Выбери себе другую, дай мне забвение, дай мне покой, дай мне жить просто, как все вокруг, не чувствуя на себе непрестанно твоего любящего и требовательного, и строгого, и прощающего, и непосильного мне взгляда!» О, как ты добр, что не слушаешь этих слов, когда они звучат в моей душе. Ты знаешь, что если бы ты отвернулся на единый миг, оставил бы меня без строгости твоей и любви, я не пережила бы этого мгновенья, я задыхнулась бы. Я умерла бы, сама не заметив. Душа моя стала бы мертвой. Только твое чудо могло бы вновь оживить ее. Но прости, прости, как я много говорю сегодня. А должна слушать. А хочу – слушать тебя, любимый. Ах, ты знаешь, я обидела сегодня Беренгьеру, от этого так беспокойна моя душа. Говори со мной, любимый, если хочешь. Мой покой и утешение, утешь меня.

Вся эта речь показалась Беренгьеру одним кратким выдохом, и наступила тишина. Беренгьера снова попыталась разглядеть что-нибудь в замочную прорезь. Лишь слабый отсвет такой же, как у нее самой, свечи уловил ее округленный глаз. Беренгьера поднялась, взялась за ручку, тихонько потянула дверь.

– Да, да! – испугал ее взволнованный возглас. Она застыла, вытянувшись на цыпочках, боясьдохнуть.

– Да, я понимаю. Ни за что я не принесу тебе в приданое хитрость, и ложь, и обман. Но ты видишь, что меня разлучают с тобой.

Тишина.

– Да, я верю тебе, и не обязательно мне знать, как ты это устроишь. Да, даже если... Я все принимаю. Убереги только мою сестру от злых мыслей и злых дел!

Тут Беренгьера не выдержала. Она рванула дверь и впрыгнула в спальню сестры.

– Наша добрая Аудьярта! Как она заботлива!

– Ты?!

– Я!

– Ты подслушивала!

– Каков упрек! А ты лишаешь меня жениха и любви. И при этом хочешь прослыть благочестивой и послушной.

– Сестрица, – вздохнув, уже спокойно заговорила Аудьярта. – Но ведь Гвидо – не твой жених. Мой. Что правда то правда, мне он не нужен. Ты пугаешь меня, а не понимаешь: я не боюсь смерти, она милее, чем брак с Гоассом. Я боюсь только того, что ты возьмешь грех на душу...

– А не хочешь этого – уступи мне Гвидо.

– Я бы рада. Что же мы с начала начинаем то, о чем говорим без конца эти дни?
И так – до рассвета.

Прежде чем праздновать в доме жениха, по давнему хеолийскому обычаю справляли свадьбу в доме невесты.

Задумано было на славу: младшая напоследок повеселится и порадует на свадьбе старшей, а уж после отбудет в монастырь бенедиктинок неподалеку. И исполнено на славу: полы устланы душистыми травами и полевыми цветами, составлен длинный стол, покрыт скатертью из тонкого полотна – не один месяц трудились над ней вышивальщицы; заготовлено вдоволь кур, куропаток, дроф, журавлей, гусей, уток, фазанов, косуль, кроликов, ланей, кабанов, а также лаванды, перца, корицы, смол, гвоздики, имбиря, муската и шафрана. Множество трубадуров и жонглеров, привлеченных известием о свадьбе, собралось в замок, и везде слышны были трели и переборы, настройка струн на разный лад: то рота, то виола, то ребек, то свирель, то мюзета, то мандола или монокорд.

Пастушку увидал в полях
между холмов на берегу
между холмов на берегу
реки, шуршавшей в камышах,
а кто, назвать я не могу,
а кто, назвать я не могу,
но не поэт и не монах,
воскликнул «ах!».

И к ней направился тотчас,
и чтоб застать ее в врасплох,
и чтоб застать ее в врасплох,
свернул с дороги и увяз,
так густо рос чертополох,
так густо рос чертополох,
и он сказал: «В недобрый час!» —
добавил «ох!»

Так молвил он, судьбу кляня,
но чтоб настичь ее скорей,
но чтоб настичь ее скорей,
в объезд направил он коня,
где путь отложе и ровней,
где путь отложе и ровней,
в жару любовного огня,
и крикнул «эй!»

И что еще он ей сказал,
и что ответила она,
и что ответила она,
я б вам немедля рассказал,
но эта песня так длинна
но эта песня так длинна,
кто что нашел, кто потерял,

и чья вина...

Невеста и ее сестра (обе казались особенно бледными и удрученными оттого, что надеты на них лучшие наряды и украшения, и от этого еще более похожие, чем всегда) стояли перед матерью, мадонной Эрменхильдой. Беренгьера жаловалась на сестру, и мать ласково и печально смотрела на них и как будто между ними, словно стремясь увидеть кого-то третьего.

– На твоём месте, Аудьярта, я непременно согласилась бы с сестрой, но это не значит, что я побуждаю тебя поступить таким образом. Просто признаю, что мне не хватило бы мужества поступить как ты. Дай я тебя поцелую. Ты не выбрала счастье, и все, что я могу тебе сказать, – твой выбор достоин имен Барасс и Гоасс.

И мадонна Эрменхильда поцеловала дочь и перекрестила ее.

– Моя маленькая Беренгьера, не плачь.

– Я не плачу, – шмыгнула Беренгьера, низко опустив лоб и косясь на сестру.

– Сестра выбрала за тебя, но за нее – судьба. Тебе дана не худшая участь. Если бы ты смогла ее полюбить...

– Я люблю только Гвидо Гоасса!

– Не знаю, почему ваш отец настаивает на своем. По мне, если бы вы поменялись, хуже не было бы. Мы никогда не говорили вам, почему одна из вас была еще в колыбели посвящена Богу. Я скажу сейчас. У тебя нежное сердце, Беренгьера, может быть, ты сумеешь принять свою участь, если поймешь, в чем ее смысл.

По выражению лица Беренгьеры трудно было бы сказать, что она согласна с мнением матери о себе и своем сердце, но она промолчала.

– Вас было трое, три моих девочки, и вы родились у меня все сразу в один день. Больше Бог не послал мне детей. Но и то, что он дал мне, я не уберегла. Ваша сестра – она была старше тебя, Беренгьера, и младше Аудьярты, – пропала во время нашествия. Ее похитили. Мы делали все, чтобы найти ее, но не смогли узнать ничего. До сих пор боюсь вспоминать о тех днях, когда отчаяние мешалось с надеждой, и вместе они сводили меня с ума. Если бы Дианора была единственной, если бы у меня не было вас, мои милые, я не пережила бы тех дней. Но я нужна была вам и вашему отцу. Тогда-то он и посвятил тебя, Беренгьера, Богу, пообещав, что ты станешь монахиней, чтобы всю жизнь молиться за благополучие твоей бедной сестры.

– Откуда ему знать, что меня? – воскликнула Беренгьера. – Разве не могли нас перепутать в колыбели, если до сих пор только честность Аудьярты позволяет отличить нас одну от другой?

– Отец уверен, и не тебе, дитя, оспаривать его слова.

– Простите, матушка, – Беренгьера скромно потупила глазки. – Но разве не лучше?...

– Не лучше, когда ты так упряма. Ступай в часовню, дитя мое, – сказала мадонна Эрменхильда старшей дочери. – Отец Эусебио примет твою исповедь. А ты, дорогая, помоги мне присмотреть за приготовлениями. И надо распорядиться, чтобы накормили музыкантов. Пойдем. Слышишь, что за прелестный голосок? Ручаюсь, среди жонглеров есть девушка. Пойдем же!

Но Беренгьера стояла, не отрывая упорного, хмурого взгляда от сестры. И та, как околдованная ее взглядом, не могла шагу ступить. Они смотрели друг другу в глаза, обе готовые сразиться за свою любовь. Наконец, мать взяла Беренгьеру за руку и увела ее.

Не надо жалости, мой друг.

Кто обошелся без разлук?

Кто счастья не терял из рук?

Кто прожил жизнь без горьких мук?
А я чем лучше?

Не надо жалости, прошу.
Пусть ожерелий не ношу,
парчовых платьев, и сушу
в пути одежду, и спешу
на зов небрежный.

Не надо жалости, пока
на струнах не дрожит рука,
и жму лады наверняка,
и не страшнее сквозняка
пока что старость.

Часовня находилась в стороне от жилых и хозяйственных построек, и Аудьярта спешила по дорожке через сад. Там поджидал ее Гвидо.

– Сенья Аудьярта! – окликнул он, выступая из-за поворота дорожки, когда девушка уже почти прошла мимо.

– Сеньо Гоасс... – Аудьярта, потупившись, присела в поклоне.

– Мне важно поговорить с вами, сенья Аудьярта.

– Я тороплюсь. Отец Эусебио ждет меня.

– Он молится за нас. Я предупредил, что задержу вас... ненадолго. Я должен сделать вам признание, и сделать его до вашей исповеди, чтобы, если вы испытаете ко мне неприязнь или более злое чувство, чтобы оно не лежало на вашей душе пятном или грузом, когда мы встанем перед алтарем.

Аудьярта подняла глаза и внимательно посмотрела на жениха.

– Думаете, я не знаю, о чем вы хотите мне сказать?

– Вы облегчаете мою задачу, и все же, сенья Аудьярта, чтобы вы могли сохранить в душе уважение к своему супругу, позвольте мне сказать самому – от первого слова до последнего.

– Дорогой Гвидо, вы мне с детства – как брат! Что такого я о вас могу узнать, чтобы это могло уничтожить любовь и уважение, которые я питаю к вам? Не верю даже, что вы способны совершить такое. Ну, молчите же! Вы хотите признаться, что были влюблены в мою сестру? Ах, ради этого не надо геройства: для кого же это секрет!

– Простите меня, сенья Аудьярта, но хорошей же вы будете женой, если перебиваете и спорите с...

– Пока только с женихом, сеньо Гоасс. Впрочем, простите мою неделикатность. Она вызвана только заботой о вас. Я была права. Я слушаю вас.

Гвидо Гоасс молчал: видно, один раз уже настроившись на разговор и будучи сбит с задуманного, он с трудом заново собирался с мыслями.

– Простите же меня! – воскликнула Аудьярта. – Обещаю, больше ни слова, пока вы сами не спросите меня.

И она протянула ему руку. Гвидо принял ее на ладонь – красивую крепкую ладонь воина, уже третий год защищавшего Запертое ущелье.

– Сенья, я не могу любить вас. Я люблю другую, и эта другая – не ваша сестра. Она – особа низкого происхождения и вам не соперница. Пусть имя ее никогда не коснется вашего слуха, пусть ваше благородное сердце никогда не знает тревоги. Я принесу клятву перед

алтарем быть верным своей супруге – и эту клятву я сдержу. Я не смею обмануть вас: моя верность будет принадлежать графине Гоасс, но мое сердце – другой.

– Гвидо! – побледнела Аудьярта. – Эта свадьба никому не принесет счастья. Вы знаете...

– Позвольте мне перебить вас, сенья. Это не тайна, о чем вы мечтали. Я знаю, что вы покоряетесь воле отца – из этого я заключаю, что вы будете хорошей супругой.

– Я постараюсь. Теперь, сеньо Гоасс, позвольте мне идти: осталось не так много времени, а у меня на душе много такого, что я должна открыть нашему Господу.

Гвидо Гоасс очень долго смотрел ей вслед. Потом перевел взгляд на небо. Нет, он не ангелов искал и хотел увидеть, но хоть малейший признак того, что первая в этом году гроза разразится наконец, пусть и в разгар его свадьбы. Становилось все труднее дышать.

Тем временем на огромной кухне замка приготовили стол для музыкантов, и все они, отложив инструменты, собрались вокруг него, воздавая хвалу щедрости хозяина и хозяйки и искусству их поваров.

Но песенки лились из зала одна за другой, выводимые все тем же легким голоском, и мадонна Эрменхильда оглянулась в поисках Беренгьеры. Нигде? Пропала. Шальная девочка. Не случилась бы чего! Мадонна Эрменхильда озабоченно нахмурилась.

Но тут в кухню, запыхавшись, влетела Беренгьера – раскрасневшаяся, с мокрым от пота лицом.

– Где ты была?

Беренгьера смущенно сморщила нос.

– Отчего не предупредила?

– Вы были заняты, матушка.

– Хороша помощница! Пошли Мартиту, пусть позовет жонглерку к столу. Да смотри, сама к ней близко не подходи и не заговаривай: тебе скоро ехать в монастырь, а от такой ничему доброму не научишься. Еще слава дурная пойдет.

– Да, матушка. Я сейчас. Матушка, я передумала убивать Аудьярту. Я не хочу замуж за Гоасса.

– Что это? – удивилась мадонна Эрменхильда. – Ты не больна? Час от часу не легче. Когда это ты собиралась убить сестру?

Но Беренгьера уже пустилась бегом из кухни, на ходу окликнув служанку и поманив ее за собой.

В зале и правда сидела худенькая девушка с большим ребekom о пяти и двух струнах. Все, что было видно от входа в зал – а она сидела спиной – это черные кудри, вольно разбросанные по плечам, смуглая ручка на грифе и другая, водившая смычком. Пропев несколько известных баллад и пасторел, она завела такую кансону, начав, по обычаю, с весеннего запева:

На радостный простор равнин,
когда пора весне настать,
вода из ледовых теснин
стремится с гор в тепле играть.
Прекрасный Господин, кому
любой в любви поклясться б мог
пусть петь позволит мне, к нему
придя незваной на порог.

О мой Прекрасный Господин,

чтоб вас иначе не назвать,
чтоб из знакомых ни один
не смог загадку разгадать;
завидую тому, кто к вам
впрямую обратиться б мог
и вы бы, слух к его словам
склонив, впустили на порог.

Беренгьера в сопровождении служанки подошла к входу в зал. Там стоял Гвидо Гоасс, на самом пороге, прислонившись плечом к стене. Беренгьера шепотом велела служанке не прерывать певицу, а когда допоеет – направить на кухню.

О мой Прекрасный Господин,
признайтесь, клятвы забывать
учил вас ветер с тех вершин,
где никому вовек бывать
не довелось, и потому
завидую тому, кто б мог
о верности сказать ему —
и к вам явиться на порог.

– Ах, эта милая манера прятать подлинное имя дамы за мужским прозвищем! – воскликнула Беренгьера, коснувшись локтя сестриного жениха. Гвидо вздрогнул. – Послушайте, дорогой Гвидо, – могу я так назвать вас, ведь вы не более чем через час станете мне братом? Так вот, мой любезный Гвидо, – ворковала Беренгьера, не обращая внимание на странное выражение, совершенно изменившее лицо Гоасса, – так вот: если бы не знать об этой моде, можно было бы думать, что песня посвящена вам. А так – всё просто! Влюбленный трубадур посылает песню моей сестрице, не успела она еще стать дамой! Берегитесь, милый Гвидо. Что-то будет дальше? А кансона нехороша, хотя мотив очень мил. Но слова чересчур просты. Как вы находите, любезный Гвидо? Но ах! Что за дурной вкус! Почему с этой целью выбрана жонглерка? В день свадьбы, в доме невесты! Это ужасно – при той репутации, которой пользуются эти девицы, если можно так называть их... Отчего же вы молчите?

Но Гвидо не отвечал.

– Гвидо, дорогой, разве так вы должны бы попрощаться со мной перед вашей свадьбой?

– Сенья Беренгьера, простите. Но того, что было в детстве, уже нет.

– Я знаю, милый Гвидо, я давно догадалась. Но никогда – слышите – никогда я не прощу вам, что вы не собрались с духом и не открылись мне, не отпустили на волю мое сердце. Вы смогли признаться моей сестре, но не мне, не мне, которую называли возлюбленной...

– Сенья Беренгьера! Ваша сестра сказала вам?

– Аудьярта? Да ни за что, вы разве не знаете ее?

– Вы подслушивали?!

– Я только этим и занимаюсь! Иначе откуда мне знать, что меня ждет? Никогда не прощу. Всю жизнь буду молиться, чтоб вам не знать счастья с Аудьяртой. Ради этого, пожалуй, стоит уйти в монастырь.

И Беренгьера, громко хохоча, убежала. Гоасс сделал несколько шагов ей вслед, но остановился, оглянулся, словно хотел вернуться в зал. И все-таки пошел прочь.

О, мой Прекрасный Господин,

воде пристало ликовать,
как, вырываясь из плотин
на волю, примется плясать
и петь; и право не пойму,
тому, кто вас назвать бы мог, —
зачем завидую ему,
сама придя к вам на порог.

Мадонна Эрменхильда задержалась около кухни, отдавая распоряжения, уточняя и направляя. И теперь, удивляясь, что до сих пор поет эта жонглерка с голосом прозрачным и чуть зеленоватым, как вода, в которой отражается весенний сад, мадонна Эрменхильда подходила к залу. Она встретила задумчивого Гвидо Гоасса и приветливо кивнула ему в ответ на его поклон: они уже не один раз виделись в течение этого бесконечно хлопотливого дня.

О, мой Прекрасный Господин,
а мне пристало тосковать —
на то достаточно причин —
и сладкий ветер целовать,
летевший мимо ваших губ.
Он, песню подхватив, помог
и мне, когда я не могу
сама прийти к вам на порог.

У входа в зал мадонна Эрменхильда прищурила глаза и разглядела, что Мартита наконец-то обратилась к отложившей ребек жонглерке. Жонглерка кивнула, встала со скамьи, держа в одной руке и ребек и смычок, перекинула через плечо сумку, подняла подстеленный дешевый плащ из двух не подходящих друг к другу мехов (как человек, не имеющий постоянного пристанища, она все свое имущество возила с собой, и меховой плащ бывал полезен ей и зимой, и летом). Оживленно беседуя, они с Мартитой подходили к мадонне Эрменхильде.

— А вот и сама госпожа! — воскликнула Мартита, дернув жонглерку за рукав. Жонглерка низко присела, придерживая обтрепанный подол. И подняла любопытный взгляд на мадонну Эрменхильду. Мадонна вскинула руки к воротнику, вцепилась в него... и упала без чувств.

Так и обнаружилось, что молоденькая жонглерка — сама сенья Дианора, средняя из трех барышень Барасс. Но об этом пока знала одна мадонна Эрменхильда, потому что она одна смогла разглядеть в худой, дочерна смуглой, бедно одетой бродяжке сходство со своими дочерьми.

Когда мадонне побрызгали в лицо ароматной водой и дали понюхать свежерастертого укропа, она пришла в себя и потребовала, чтобы оставили ее с жонглеркой наедине и немедленно послали за господином.

Дом Уго поспешил на зов жены, зная, что без крайней надобности она не стала бы его беспокоить, конечно. А узнав о ее обмороке, ускорил шаги. Его проводили в покои мадонны Эрменхильды.

Сама мадонна сидела в кресле, опираясь спиной на подложенную подушку. У ее ног на скамейке сидела сенья Дианора, положив голову ей на колени. Ребек стоял рядом с ней, также прислоненный к креслу мадонны.

– Дом Уго, – сказала ему мадонна Эрменхильда, – вот наша потерянная и обретенная дочь. Сам Господь распорядился так, чтобы она вернулась домой в день свадьбы своей сестры, чтобы разделить нашу радость. Поклонись отцу, Дианора.

Дианора встала и поклонилась отцу. Дом Уго подошел ближе и обошел ее вокруг, чтобы свет, падавший из окна за ее спиной, не мешал взгляду.

– Дитя, поцелуй руку отцу, – шепнула мадонна Эрменхильда.

– погоди, – строго оборвал ее дом Уго. – Точно ли ты Дианора?

– До сих пор я звалась Маура, потому что меня купил в Андалусии трубадур Аламо из Валки. Настоящего моего имени я не знала.

– Отчего, дорогая мадонна, – обратился дом Уго к своей жене, – вы уверены, что эта девица – наша дочь Дианора?

– Но взгляни на нее! – растерялась мадонна Эрменхильда. – Если бы она не была так худа и смугла... Одно лицо! Они, все три, так похожи на тебя.

Дом Уго покачал головой.

– Скажи мне, Маура, давно ли ты занимаешься своим ремеслом? Чьи песни поешь? Известна ли ты в наших краях? Где бывала?

Девушка вскинула голову, смерила дома Уго решительным взглядом.

– Я всю жизнь занимаюсь моим ремеслом, сначала училась у хозяина и его жонглера Кантарито, теперь пою сама, и многие известные трубадуры рады, когда я исполняю их песни. Случается, сочиняю и сама. И в ваших краях мое имя известно, я побывала при дворах многих владетельных господ, и год провела в крепости «Не-дальше», и рыцари ценили мои песни и мое присутствие.

– Вот как? – поразился дом Уго. – Год в военной крепости? Среди мужчин? Дорогая мадонна, это не наша дочь. Я прошу тебя, девица, немедленно покинуть замок. Твое сходство с нашими дочерьми – совершенно случайное, хотя, должен признаться, необыкновенное, – может породить нежелательные слухи. Сегодня одна из барышень выходит замуж. Другая на днях отправляется в монастырь. Как некстати!

Маура побелела как саван – и тут же краска бросилась ей в лицо. Оглянувшись на мадонну Эрменхильду, она резко опустила голову, подхватила ребенка и плащ и бросилась вон из комнаты.

– Постой! – вскрикнула мадонна Эрменхильда. Маура обернулась от двери.

– Ты, конечно, надеялась заработать на празднике, – строго сказал дом Уго. – Пока тебе выведут коня, я пошлю управляющего...

– Что вы говорите, дом Уго! – прошептала мадонна. Но Маура уже не слышала ее голоса, она бежала прочь, прижимая к животу свой большой ребенок о пяти струнах поющих и двух басовых. Плащ в два меха, дешевый плащ не слишком удачливой жонглерки, волочился за ней по полу.

Аудьярта вышла из часовни. Она постояла, удивленная: не могло пройти столько времени! Чтобы так стемнело... Ей пора одеваться к венцу! Матушка волнуется... Спасибо ей: не послала за дочерью, не стала отрывать от молитвы, дала попрощаться с мечтой и самым страстным желанием в жизни.

Аудьярта поспешила домой. Вдруг сад осветился мертвенно-белой вспышкой, и следом ударил гром, как будто прямо над головой. Аудьярта застыла, сама поразившись своему крику: он прозвучал как бы вдвое. Но, испытывая непреодолимый страх перед новой вспышкой и раскатом грома, Аудьярта кинулась бежать к дому – и тут же столкнулась с Беренгьерой, вылетевшей ей навстречу. Одета сестра была странно: в простое поношенное платье, и в руках ее крутился большой ребенок, который Беренгьера кутала в бедного вида плащ, пряча от первых капель наконец разразившегося ливня.

– Что ты, Беренгьера? Куда ты?

Девушка обратила к Аудьярте смуглое лицо, на котором ясно блестели дорожки слез. Беренгьера? Это? Нет!

– Кто ты?

Девушка мотнула головой.

– Некогда мне. Велено уходить немедленно! А звать меня Маура и я вам, барышня, кажется, сестра, – нарочито грубо выпалила она и добавила: – Вот уж не набивалась.

– Идем со мной! – Аудьярта схватила девицу за локоть и потащила обратно в часовню.

– Вроде мне в другую сторону! Заблудилась я...

– Сюда, сюда! Отец Эусебио пошел отдохнуть и подкрепиться, мы здесь одни. Говори!

За дверью полыхало и гремело беспрестанно, Маура-Дианора, вытирая слезы тыльной стороной ладони, рассказывала свою историю.

– Скорее! – закричала Аудьярта, когда речь дошла до крепости «Не-дальше». – Граф Гоасс! Он говорил – о тебе?

– Он – говорил обо мне? – всплеснула руками Маура.

– Он обещал жениться на тебе?

– Чего только мужчины не обещают! – отмахнулась Маура.

– И отец, значит, выгнал тебя? Господи прости, как это на него похоже. Он видит только то, что хочет видеть. Но как же быть, как же быть?

Аудьярта мучительно наморщила лоб и подняла руки, так шевеля пальцами перед собой, словно хотела уловить что-то совсем близкое, но не дающееся. Внезапно лицо ее расправилось, и выражение совершенного покоя и великой решимости засияло на нем.

– Говори: пойдешь за него?

Маура распахнула глаза.

– За... за Гвидо?

Аудьярта тряхнула кудрями.

– Невозможно! Я пришла только взглянуть на него в последний раз. Не удержалась. Я не знала, что у меня здесь...

– Решайся же!

– Но как?!

– Вот так: я проведу тебя к себе и мы поменяемся платьем. Я надену твое, а ты... тебя уже пора наряжать к венцу. Никто и не заметит.

– Разве? – Маура схватила Аудьярту за руку и показала: – Я смугла, как дорожная пыль, а ты бела, как роза.

– А фата? А рукава? Ведь к венцу!

В те времена в Хеоли в память о королеве Гедвиге невесты непременно надевали платья с рукавами до земли и густую фату.

– А проверят?

– Зачем? Кому и в голову придет? Беренгьера будет рядом, и все ведь знают...

– Знают что?

– Что я на обман не пойду, – покраснела Аудьярта.

– Почему же?...

– Я не люблю его. Я люблю другого. Всего не объяснить. Было нельзя. Теперь можно. Вот так – можно.

– Как? – удивилась жонглерка.

– Скорее! – Аудьярта схватила Мауру за руку.

– Подожди? А ребек?

– Давай спрячем его здесь, в часовне. А вот плащ я возьму.

– Как же ты пойдешь в такой дождь? – притянула ее за плечо Маура.

- А как бы ты пошла? – нахмурилась Аудьярта.
- Ну, я! Я привыкла.
- Значит, и я могу привыкнуть.
- Но куда?
- Меня ждут, – улыбнулась Аудьярта. – Побежали!

Наревевшись власть, Беренгьера кинулась к зеркалу. Еще не хватало! Пусть его сердце отдано другой, и тем паче – не видать ему сеньи Барасс в слезах. Сеньи Беренгьеры Барасс! Такой некрасивой: с опухшими веками, покрасневшими глазами, пятнами на лице – никогда он ее не увидит.

Кликнула служанок, потребовала холодной воды, полотенец, белил. Кое-как лицо привели в порядок. Ей ведь, сестре и подружке невесты, стоять совсем рядом с молодыми, сидеть на передней скамье (хоть ко всем остальным спиной, и то легче) и улыбаться. Непременно улыбаться. Ему, конечно, дела нет. Но потом он вспомнит. О, он вспомнит когда-нибудь, как улыбалась Беренгьера, когда он вел к алтарю другую. Беренгьера снова расхохоталась: ведь и невесту свою не любит Гвидо Гоасс, и не быть ему счастливым, и то радость! Но так легко злой смех обернулся горькими слезами...

– Прилягте, барышня, – служанка положила ей на глаза мокрые тряпочки. – А то придется заново белила класть...

– Дай веер, – капризно сказала Беренгьера, откинув голову на спинку кресла. – Тот, белый, венецианский.

– Да нет его! – через некоторое время услышала она в ответ. – Нигде нет.

– Как же? Я вчера с ним... ах, да! он у меня упал. Пойди, Лойза, поищи, он должен быть под аудьяртиным окном. А то начнется гроза. Жалко такой хороший веер. В монастыре он мне не понадобится. Ну, все равно, подарю Аудьярте. Ступай же, Лойза.

Едва Лойза открыла дверь, как в спину ей из окна полыхнуло, и тут же ударил гром. Лойза взвизгнула, Беренгьера сорвала с глаз тряпочки и вскочила.

– Что? Что это было? – трясущимися губами пролепетала она.

– Это гроза, сенья, – таким же дрожащим голосом отвечала служанка.

– Гроза... – Беренгьера прижала руки к груди, не давая сердцу вырваться и пуститься наутек. – Так что же ты стоишь? Веер же!

– Ой! – вскрикнула Лойза и убежала.

А сенья Беренгьера Барасс упала ничком на постель, обливаясь слезами.

Когда Лойза вернулась, насквозь промокшая, и, конечно, ни с чем, Беренгьера не дослушала ее сбивчивого доклада о напрасных поисках и бешеном ливне, и оглушительных раскатах грома, и ужасающих вспышках. Она вскочила с кровати, откинула за плечи волосы и решительно направилась к двери.

– Ох, барышня... а белила-то... – сразу забыв о грозе, забормотала служанка. – Ведь уже и одеваться пора!

Беренгьера прошла мимо нее и с силой захлопнула за собой дверь. «В последний раз, только в последний раз...» – неслышно повторяла она, стремительно шагая по коридору.

Аудьярта отослала служанок и, тайком проведя новообетенную сестру в свои покои, сама занялась ее туалетом. Первым делом она переоделась в платье Мауры, которое пришлось ей впору только потому, что на Мауре болталось, как на палке.

– Придется тебе надеть две сорочки, – озабоченно сказала Аудьярта и достала сорочки из сундука. – Давай-ка.

На сорочки было надето нижнее платье-туника, и Аудьярта ловко пришила узкие рукава, ни разу не уколов закусившую губы Мауру; а поверх того платья – второе, верхнее,

с рукавами широкими и длинными, до пола, покрытыми вышитым узором. На бедра лег нарядный пояс, украшенный золотыми накладками с жемчугом, с пряжкой кованого золота.

– Такого тяжелого я никогда не носила, – смущенно улыбнулась Маура. Аудьярта ободряюще улыбнулась ей в ответ.

– А еще перстни, а еще ожерелье! А венец! Ты ведь дочь герцога. Ой, а башмаки? Разувайся.

И белые нежные ножки Аудьярты, переступив по вымощенному узорной плиткой полу, нырнули в войлочные башмаки Мауры. А Маура, замирая от восторга, обула ноги в вышитые башмачки ирландской кожи, новенькие, приготовленные к свадебному наряду.

– Как раз, – сказала Аудьярта, повозив ногой в разношенном, растоптанном башмаке.

– Жмут, – пожаловалась Маура.

– С новыми всегда беда такая, – утешила ее сестра. – Придется потерпеть. Сможешь?

– Смогу, – Маура решительно мотнула черными кудрями.

Тихий, но твердый стук в дверь заставил обеих вздрогнуть. Аудьярта успокоительно покачала головой.

– Кто там? – спросила она, подойдя к двери.

– Сестрица, открой, это я!

– Боже мой, – ахнула Аудьярта, – только не это. Выручай.

И уже громко:

– Что тебе нужно, сестрица?

– Открой!

– Не могу. Я... я раздета. Уже пора. Почему ты не переодеваешься?

– Сестрица... прошу тебя! Последний раз прошу. Пусть он не любит меня, но я-то его люблю. А тебе – не все ли равно? Разве ты сможешь о нем заботиться, как я бы заботилась? Так ждать, так молиться, когда он уедет в крепость? Так ухаживать за ним, если его ранят? Разве ты сможешь? В тебе сердце холоднее льда, тверже стали!

– Неправда, неправда, – ей в ответ взмолилась Аудьярта, прижав ладони к мокрым щекам.

– Неправда? Ты даже не откроешь дверь, чтобы посмотреть, как я стою на коленях!

– Что же делать? – шептала Аудьярта. Маура на цыпочках подошла к ней и стиснула ее руку в своих.

– Она его любит? – одним тихим выдохом спросила Маура.

– Он любит тебя, – напомнила Аудьярта. – Он сам мне сказал об этом.

– Но она его любит.

– Любовь не приходит плакать под дверь. Любовь молчит до тех пор, пока не наступит время действовать.

– А если никогда?

– Умирает молча.

– Откуда ты столько знаешь про любовь, барышня? – чуть насмешливо спросила жонглерка.

– Я люблю, – ответила Аудьярта. – Уходи, Беренгьера. Ты мешаешь мне.

– Ах, так?! – послышалось из-за двери. – Ну ладно же!

Аудьярта прислушалась.

– Она ушла. Теперь осталось совсем мало времени. Слушай меня и запоминай: когда отец и матушка придут благословить тебя, говори только шепотом, когда можно промолчать, кивай, они поймут: ты ведь волнуешься, не правда ли? Гвидо Гоассу не обязательно знать, в чем дело, до самого конца. Всем известно, что я не рада этому браку, так что твое молчание никого не удивит. Фату... вот так и вот так. Твоего лица совсем не видно, шпильки держатся прочно. Не бойся. Теперь венец. Покачай головой. Ты должна чувствовать себя уверенно.

– А будет ли венчание действительно, если меня будут называть твоим именем?

– Об этом некогда и некого спросить. Но ведь обряд свершат над тобой. И в верности и любви Гоасс поклянется тебе. А ты – ему. Пусть Бог с меня за это взыщет. Теперь – прощай. Сестра. Сестра. Мы дружили бы с тобой, правда? Если твой супруг позволит, приезжай навестить меня.

– Куда?

– Я сообщу. Прощай.

И Аудьярта тенью выскользнула из комнаты. Она взяла только плащ и сумку Мауры.

Беренгьера решительно шагала по коридору. Она не знала, что сделает, но понимала: остановить ее некому. А сделать сейчас она может только что-нибудь уж очень страшное. Если уж делать. Иначе – нечего и браться. Ах, кто бы остановил ее! Кто там впереди? Стремянный Гоасса, нашего женишка? Ах, трусишка Гвидо не пошел против отцовской воли. Женится, как велели. Тьфу на такого жениха. Не нужен мне такой. И на стремянного его – тьфу. А мне... Мне такой нужен, чтобы... чтобы... Таких и нет на свете. Если и Гоасс не такой – то некому уже.

– Уступай дорогу благородным, болван неотесанный! – рывкнула Беренгьера, налетев на не успевшего увернуться Фаусто. Он поспешно склонился перед сеньей Беренгьерой, бормоча извинения, а из-под полы его куртки выпал и с нежным стуком упал, и чудесно засиял на темном полу белый, расшитый серебром и жемчугом веер-флажок.

– Ой, – сказала Беренгьера. – Ты нашел его? Нет. Почему ты прячешь глаза, Фаусто? Ты не мог его найти сейчас. Одежда сухая.

Она протянула руку и ощупала куртку на груди Фаусто, провела ладонью по рукаву.

– Что же, ты, выходит, украл его, Фаусто?

– Нет, сенья, – замотал головой слуга. – Выслушайте меня...

Беренгьера присела и хотела поднять веер, но рука Фаусто легла на ее пальцы.

– Что?!

Они стояли на коленях друг напротив друга, наклонившись, и от этого их лица оказались еще ближе, и, не в силах вынести гневного пламени ее глаз, Фаусто признался:

– Я не крал. Я люблю вас.

О, все что он думал о Беренгьере, было справедливо. Она была и надменна, и капризна, и себялюбива. Но за последние пару часов ее сердце пережило столько, что наконец повзросло, и она сумела понять, что говорит ей Фаусто. А он говорил еще вот что:

– Я знаю, сенья, вы не хотите в монастырь. Так давайте я увезу вас, а потом вас найдут. За это не наказывают, но в монастырь... может быть, ваши родители передумают и найдут вам жениха.

– Не наказывают девушек, – поправила его Беренгьера. – А что сделают с тобой?

– Ничего, – отмахнулся Фаусто. – Ничего.

– Ах, вот как, – Беренгьера посмотрела на Фаусто широко раскрытыми глазами. – Ты готов даже умереть. А скажи мне, мог бы ты увезти меня так, чтобы нас никто не нашел?

– Это еще проще, – не выдержав, опустил глаза Фаусто. Но тут же поднял их и ответил твердым взглядом. – Я много думал об этом.

– Давно?

– Давно.

– Когда же мы уедем?

– Сейчас?

– Нет, – сказала Беренгьера, отведя задумчивый взгляд. – Если меня не будет на венчании, это сразу заметят. А вот потом... всем будет не до меня. Я скажусь больной и закроюсь в своей комнате. Никому это не покажется странным, правда, Фаусто?

– Правда, сенья Беренгьера.

– Ну, а ты все приготовь. Думаю, полночь – подходящее время. Я приду к часовне. А сейчас дай мне веер. Я буду держаться за него, как за твою руку. И, Боже мой, как я буду улыбаться!

Она тихонько засмеялась и спокойно пошла обратно. Фаусто смотрел ей вслед, не смея верить и не смея сомневаться.

Спешу сообщить, что история эта закончилась благополучно.

Светлый рыцарь граф Гвидо Гоасс обвенчался с Дианорой Барасс, и когда обман открылся, не поверил в это только дом Уго Барасс. Он считал, что все идет, как должно, и это достаточное основание, чтобы утверждать, что если девица стояла перед алтарем с графом Гоассом, то эта девица и есть, несомненно, его дочь Аудьярта. До смертного часа так он ее и называл. Спорить с ним охотников не нашлось. Мадонна Эрменхильда была совершенно счастлива, вновь обретя дважды потерянную дочь, а когда прояснилась судьба Аудьярты, вовсе успокоилась и всегда говорила, что старшая дочь – самая разумная из всех.

Аудьярта Барасс со слезами счастья приняла постриг в обители кающихся грешниц, что в Маравилье: там принимали и без приданого, которого она, сбежавшая из дому против воли отца, принести не могла.

Беренгьера через месяц стала мадонной Барасс, а Фаусто сделался наследником герцога, потому что вся Хеоли не смогла отыскать беглецов. Зато граф Гоасс, привезя молодую жену в родовой замок, посмеялся на славу: его сбежавший стремянный обнаружился дома, и там-то, в замке Гоасса, его, конечно, никто не искал. Разумеется, граф сделал все, чтобы друг его не испытывал никаких неудобств в укромном убежище, которое ему и его невесте было предоставлено. Зато Беренгьера подружилась с молодой графиней, своей сестрой, и, когда истек месяц испытания, вместе с ней отправилась навестить Аудьярту в Маравилью. Там, у решетки в монастырской приемной, они и встретились все три: счастливые.

Они собрались там все вместе спустя пять лет, после того как граф Гвидо Гоасс и герцог Фаусто Барасс погибли оба в один и тот же день в крепости «Не-дальше».

Вот и вся история об Аудьярте, Беренгьере и Дианоре.

Козлоногий, козлорогий

Наст, однако. Хороший наст, крепкий.

Самое то что нужно для охоты на копытных.

Серый Волк Никола, опустив лобастую голову, принялся. След был большой и глубокий, обломанные края ледяной корки вскоре окрасились кровью. Не повезло козлятине. Что ж тебя в лес-то понесло, болезный? Домашний козлик, кормленный, тяжелый. Подобрал слюну, Никола порысил вдоль борозды. «Я тоже хочу провести твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты по той. Посмотрим, кто из нас раньше придет».

Широкие мохнатые лапы несли его как по паркету, и Никола не сомневался, что охота будет удачной. След плутал между деревьев, и несло от него не просто страхом – запретным ужасом, хотя погони здесь еще не было... А вот здесь уже была. Никола без труда узнал след местной стаи и ее вожака Сивого. Да никого другого на этом участке и быть не могло. Никола с наслаждением втянул знакомый запах: одна из волчиц входила в пору... На чужой, как говорится, каравай, – посоветовал себе Никола, отфыркнувшись. Добыл бы ты себе Алену Прекрасную! Тут вспомнилось, как царь Кусман целовал упомянутую красавицу в уста сахарные и заслужил одобрительную улыбку – во все сорок два зуба, включая клыки чуть не в большой палец величиной. Миленькая история. Было бы кому рассказать.

Что ж так козлика-то напугало? Крупная животинка. Вот здесь он пытался нащупать путь потверже и двуострое копытце надломило наст. А крови-то. Ноги все поободрал. Ну, от команды Сивого так и так не уйдешь. Никола остановился, поводя ушами. Нигде не было слышно шума погони. Должно быть, Сивый уже пирует. Ну, кто не успел, тот опоздал. Серый развернулся и потрусил обратно. Он мог, конечно, явиться незванным гостем к Сивому, но им еще охотиться в этом лесу неизвестно сколько, а наживать себе врага в лице соседа Никола вовсе не собирался.

Поохотившись, он возвращался домой, кинув на спину косульку, и думы его были о предстоящем обеде, но через ноздри в них прокрался знакомый запах. Вот уж, сказал себе Никола, знал я людей, от которых пахло козлом. Но чтоб от козла пахло человеком!

Шутки шутками, но след вел точнехонько в направлении его жилья, и вся стая Сивого, похоже, теперь находилась у Николы в гостях. Еще чего не хватало! Никола повозил лопатками под ношей и припустил скачками. Вылетев из зарослей, он увидел, что стая сидит, взяв в кольцо вход в его логово, но на приличном расстоянии. Вот молодцы, сказал Никола. Порядок знают. Конечно, говорить вслух в таком виде он не мог, тем более, что косулька набила рот шерстью. Но он сказал про себя. Дождавшись, когда волки оторвут задницы от наста и расступятся, он важно, неторопливо, с непоколебимым достоинством прошел между ними. Только у самой двери выпустил из пасти косулью шею, – и тут заметил, что прикрыта дверь неплотно, снег набился между толстой дубовой доской и порогом. Дерни за веревочку, понимаешь, и дверь откроется. Ай да козлятина! Никола обернулся, обменялся взглядами с вожаком. Сивый отвел взгляд. Ладно, порядок порядком, а справедливость справедливостью. Сейчас я вам этого умника шугану.

Никола перекинулся через себя и обернулся добрым молодцем, одетым соответственно погоде в тулуп, теплые штаны и высокие сапоги двойного меха. То-то! Уж волшебство так волшебство, а не то, что нынешние пишут... Где ж вы выдели, чтобы волк под выюком ходил? Ну никакого понятия, честное слово.

Никола, безбоязненно оставив добычу у порога, потянул дверь на себя. «Козлятушки, ребята, отворитесь, отопритесь...» – не пришло ему на ум ничего лучше. – «Ваша мама пришла...». В нос потянуло уже надоевшим козлиным запахом. Спустившись вниз по земляным ступеням – ох, не для волчьих лап! – Никола откинул шкуру и вошел в единствен-

ную, зато большую комнату. Он прекрасно видел в темноте, но сразу не углядел никаких признаков вторжения. Никола нащупал на полочке спички и направился к очагу, сделанному в стене. Поджег заранее приготовленную растопку, поправил полешки. Снова огляделся. Беглец ведь должен быть здесь – не сидела бы стая Сивого у пустого логова, сказал себе Никола, а уж тем более у моего логова – просто так. Представить себе козла, рогами и копытами прорывающего себе подземный ход, Никола не мог. Значит, он здесь. Где? Сильнее всего козлиным запахом тянуло из угла. Под кроватью он, что ли, прячется? Ну, не смешите меня.

Никола прошел в угол. Придерживаясь рукой за книжную полку, наклонился, приподнял край лоскутного одеяла, заглянул под кровать. Никого. Он выпрямился и в недоумении пожал плечами. Тут-то и бросилось ему в глаза незамеченное раньше. Да потому и не заметил, что быть такого не могло: двуострое копытце с клоком слипшейся от крови козлиной шерсти непринужденно выглядывало из-под одеяла.

Никола прислонился плечом к корешкам любимых книг, как бы ища у них поддержки перед лицом жестокой реальности: этот кусок вонючей козлятины не придумал ничего лучше, кроме как спрятаться в его постели, под его одеялом.

«Кто спал в моей постельке и помял ее?» – осипло выдавил Никола. И резко сдернул одеяло на пол.

Никакой реакции. Только передернулась пара точеных копытцев. «Во сне», – понял Никола, сам пребывая как бы во сне. И еще раз пересчитал копытца. Пара. Одна пара. И все, если говорить о копытах. Приходя в себя, но одновременно еще более туманясь мыслью, Никола разглядел заломленные локти, полускрытый буйными кудрями профиль, сложенные одна к одной и умощенные под щеку ладошки. А также нездешней смуглости обнаженный торс, как из меховых штанов, выраставший из косматых бедер. И еще: из кудрей буйных на полпальца выглядывали крепкие рожки. «Молодой ишшо», – определил Никола.

Беглец спал безмятежно, как у себя дома. «Умаялся, сердешный», – съязвил Никола, чтобы вернуть обычную ясность мысли. – «Ай-яй-яй! Сейчас-сейчас... придет серенький волчок – и укусит!»

Сивый! Ну не выдавать же на съедение этакое чудо чудное, диво дивное, а что делать с соседом? Нехорошо получится, если просто прогнать с порога. Объяснить Сивому, что за добычу он преследовал на самом деле, не представлялось возможным.

Никола поднялся наружу, ухватил косульку за задние ноги и отволлок подальше, за кусты. «Бери», – сказал он Сивому, махнув рукой. Для этого не пришлось даже перекидываться: Сивый всегда понимал его, потому Никола и позволил остаться здесь его стае, когда облюбовал этот лес для себя.

У себя Никола подбросил дровишек в огонь, накрыл козлоногого, заботливо подоткнув одеяло. Тот только перебрал копытцами и замученно всхлипнул. Никола покачал головой, но будить его не стал. Обернулся Серым Волком и, вспрыгнув на широкую кровать, свернулся клубком поверх одеяла. Нос положил на хвост и благословил себя на сон грядущий такими словами: «Кто спит, тот обедает, как писал Дюма-отец. Утро, понимаешь, вечера мудренее. Какую, может, консерву открою. А чем этого кормить? За сеном, что ли в деревню?...» – тут мысли его спутались и угасли.

Разбудил его шорох, робкое дыханье. Натощак сон неглубокий. Никола наставил уши, втянул прогретый воздух, почти на вкус отдающий козлом, приоткрыл зелено полыхнувшие глаза. Фавн козлом скакнул с кровати – чуть не через всю комнату. Но Никола оказался проворнее – он встретил робкого гостя перед дверью, припав на передние лапы и приветливо приоткрыв пасть. Хвост его похлопывал по навешенной на дверь шкуре. То ли гость с собаками не был знаком, то ли его так просто не проведешь – он зашелся тонким блеяньем

и закрыл глаза. Руки вытянул перед собой, то ли защищаясь, то ли умоляя. И так застыл, ожидая смерти. Израненные ноги мелко дрожали.

Тьфу ты, подумал Никола. Это ж надо! Но тут вспомнил, сколько гостю пришлось уже натерпеться (не говоря даже о том, как его сюда занесло), и поступил по-человечески: обернулся, подошел и похлопал успокоительно по смуглому плечу. Фавн широко раскрыл глаза, уставился на добра молодца, закатил зрачки и винтом начал падать. Никола подхватил его и отнес на кровать. Стоило скакать!

Из шкафчика достал бутылку, выдернул пробку из горлышка. Потянуло бражкой, огненной водой – и травами, травами. Оттянув безвольную челюсть, Никола влил в гостя с полглотка, успев заметить, что зубы у него так, серединка на половинку. Не хищник и не травоядное. Всеядный, как человек. Ну и слава Богу.

Фавн закашлялся и вскочил, вернее, попытался, но был остановлен широкой ладонью, уложен обратно, накрыт одеялом.

– Как дела? – спросил Никола.

– А ты кто такой? – не растерялся фавн.

Конечно, они понимали друг друга: в сказках и мифах все говорят на одном языке, а как же иначе?

– Я ворон здешний, а не мельник, – немного невпопад нашелся Никола, вызвав очередное оцепенение у нервного гостя. Так он обычно дразнил русалку, а тут само на язык вывернулось.

– Ладно, – покровительственно похлопал он по плечу беженца из Эллады. – Я – Серый Волк, оборотень, в натуре, как это сейчас говорят. А вообще не бойся.

– Я не боюсь, – вопреки сотрясшему плечи ознобу сказал гость. И старательно улыбнулся. Было в его улыбке что-то козье, как и в желтоватых глазах, то ли косящих, то ли слегка безумных. Но когда улыбка стояла с его лица, что-то от нее все же осталось, видно все дело было в чуть загнутых уголках губ. Только заглянув пристально ему в глаза, Никола убедился, что он вовсе не улыбается. Такая вот улыбчивая мордашка – улыбается сама.

– Не бойся, – очень веско повторил Серый Волк. – Я тебя не съем. Честное слово. Маугли ты мой. Косулей выкупленный. Кстати, есть хочешь?

– Пить...

Никола расшевелил огонь, выскочил зачерпнуть снега подальше, где не натоптано. Подвесил котелок, выбрал травы поздоровее.

– Насквозь промерз?

– Согрелся уже.

– Да я вижу, вижу. Холодной не дам – будем чай пить. Заболеть не хватало. Здесь Асклепиев ваших с Хиронами не водится.

– Где – здесь? – встрепенулся гость.

Никола помолчал, раздумывая, как подсластить новость. Но вспомнил, что правда, как травка, чем горше, тем здоровее.

– Да вот здесь. На Руси, понимаешь, матушке.

Безмятежное лицо показало Волку, что гость о Руси-матушке слыхом не слыхал. Видом уже повидал, однако.

– А в ваших куцах еллинских, значит, русского духа не чуяли?

– Чи-во? – наклонился фавн.

– Да так. Давай знакомиться. А зовут меня Николаем, по батюшке кличут Никифоровичем.

– Так ты наш? – обрадовался фавн, услышав знакомые имена.

– Да ну какой там. Это так, культурное наследие.

Фавн вздохнул.

– А я – Иларий, – и невзначай улыбнулся козьей своей, но нестерпимо обаятельной улыбкой.

– Веселый, значит, – улыбнулся в ответ Серый Волк. – Ну, сегодня ты уж всласть повеселился. Давай-ка я твои ноги посмотрю. Снег – он, конечно, чистый...

Иларий послушно выпростал ноги из-под одеяла, озабоченно оглядел их. Покачал головой.

– Это тебе не по склонам пелеонским скакать. Аки козленти. Ничего, до свадьбы заживет. Вот найдем тебе подходящую козочку...

Фавн весь передернулся, возмущенно запыхтел.

– Да ладно, ладно. Пошутил я. Ну уж я не знаю, как ты мавкам глянешься. Таких как ты тут видом не видали, слыхом не слыхали. Как тебя угораздило? – приговаривал Никола, ловко обкладывая израненные лодыжки распаренной травой и обматывая сверху бинтом медицинским стерильным.

– Да вот... – снова передернулся Иларий. – Я от Власа бежал...

– От Власа, говоришь? Эх, все родные звуки. Колыбель цивилизации... И дальше? Чего от него, неповоротливого, тупого, бегать?

– Тупой-то он тупой, да поворотлив не в меру. И туда поворотлив, и сюда. Ну, в общем, противный.

– Ну, в общем, Греция. Платон, «Пир». Ну и дальше?

– Ну, и я бегу – а там пещерка. Кусты сзади далеко трещат. Я в пещерку и юркни. Думаю, козел этот...

– Как? Ну да, козел и есть.

– ... ни за что не догадается. Он же тупой.

Фавн перевел дух, поморщился.

– А ты молодец, терпеливый, похвалил Никола, доматывая бинт. – Ну вот уже и все. Так что у вас там дальше с Власом было?

– Ничего не было. Он полез в грот, и тут я взмолился: боги великие, Пан-отец, не дайте пропасть, уберите меня отсюда! Как вдруг загремело, затряслось, загрохотало, заворочалось, загромыхало, содрогнулось...

Глаза фавна стали закатываться.

– Тиш, тиш, – похлопал его по косматому колену Никола. – Какой ты впечатлительный. Ну, понятное дело, землетрясение. Завалило тебя, что ли?

Иларий торопливо закивал.

– Засыпало. Потом не помню. Потом глаза открыл – свет белый, глаза режет, холодно, как в жизни не было, все белое, стою по колено в белом, коркой покрытом...

– Мать моя... козочка! – поддержал Никола. Иларий оскорбленно фыркнул.

– Да ладно, ладно, – примирительно сказал Никола. – Убрали тебя оттуда, нечего сказать. Бандероль без адреса. Хранить вечно. Знаешь, сколько лет прошло?

– Сколько?

– Да не одна тысяча.

– Не может быть...

– И Пан умер.

– Не может быть...

– Точно, точно. Была верная весточка. Умер, мол, Великий Пан. Тыщи две тому назад. Кто ж тебя теперь домой вернет?

Иларий смотрел потерянными глазами, желтоватое радостное безумие в них выворачивалось отчаянной изнанкой. Губы дрожали. Пальцы вцепились в мех на коленях.

– Ладно. И здесь люди живут. И всякие прочие. Раз уж так вышло, давай справим поминки по Великому Пану.

Никола придвинул в угол крепкий стол, поставил бутылку самогону на травах, стаканы граненые, две банки армейской тушенки, литровую банку маринованных огурчиков, вышел в сени, навалил в миску капустки. Снова подвесил котелок, теперь из воды горбились коричневые клубни.

– Щас мы ее, родимую, в мундирчиках... А пока давай... не чокаясь.

В растерянности от неожиданных и ошеломительных новостей Иларий подзабыл недавний опыт, а прозрачный вид напитка не вызвал в нем опасений. Он, взяв пример с хозяина, лихо опрокинул стакан.

– Да что ж ты! – забеспокоился Никола, поднося ему огурчик на вилочке. – Это ж тебе не виноградное разбавленное. Это ж чистый самогон. Ты закусывай, закусывай.

По-козы проворно фавн схрупал огурец и приободрился. В глазах растеклась теплая влага, улыбка тронула помягчевшие губы.

– Амброзия чистая, – проворковал он. – С нектаром сладким.

Волк кивнул, наливая по второй.

– Организму надо не давать опомниться. Ударная доза называется. Пей. Как лекарство. И все пройдет.

Выпили по второй.

– Погоди-ка, – сказал Волк, орудуя консервным ножом. – Нельзя без закуски.

Выпили по третьей. От тушенки Иларий отказался, схватив вилку в кулак, решительно вонзил ее в пупырчатый огуречный бок.

– А капустку квашеную что ж не ешь? Самая, извини, козлиная пища.

Фавн лихо тряхнул головой, не удержался, опрокинулся на подушки, но тут же поднялся на локте и сказал:

– Ты что, до четырех считать не умеешь?

– Еще? – удивился Никола внезапной бойкости гостя, однако охотно потянулся к бутылке.

– Вот было бы у меня четыре ноги, был бы я козлом. А так...

Капуста ему не понравилась.

– Погоди-погоди, – пообещал Никола. – Завтра я тебя от бочки не оттяну, вот увидишь. А картошечки горяченькой? В твоё время такого не едали. Заморский клубешек, а прирос к земле родной, – ссентиментальничал Никола.

«Ох, что-то меня развозит. Набегался, толком не ел. И не спал. Надо бы того... аккуратнее... И главное – закусывать».

– Я ведь тоже, понимаешь, не в своём времени, – пожаловался он, чтобы утешить Илария. – Внуки-правнуки давно отбегали, черны вороны белы кости поглодали. А я – вот он. Здесь недавно.

– А тебя-то как сюда?..

– Своей волей. Одному дураку Ивану нос утереть хотел. Это я потом уже у Хайнлайна... ты не знаешь, это писатель такой американский... ну, из тех краев, где картошка растет. Читал я у него, что толку в этом никакого. Ну, а в те-то времена Хайнлайнова душа еще в горних высях своей очереди дожидалась. Некому было мне, дураку молодому, объяснить... А дело было так...

Никола потянулся, не глядя взял с полки книгу. На обложке, гордо выпятив грудь, красовался желтый петух в сапогах со шпорами и боевой косой на плече. Книга сама раскрылась на странице с большой буквой «Ж» в рамке с хохломской «травкой».

– Жил-был царь Берендей, у него было три сына, младшего звали Иваном.

Фавн, подперев кулачком размякшую щеку, слушал и слушал, поблескивая желтыми глазами. Волк увлекся, читал с выражением. Когда дошел до поедания Иванова коня, прервался.

– Конины терпеть не могу. Угнал я его подальше. Уж больно хотелось подружиться с добрым молодцем. Говорю же – дураком был. Дальше слушай.

И все подробно рассказал: как Иван-царевич, руки загребушие, имея за пазухой дивную Жар-птицу (по-вашему Феникса), позарился на клетку из обыкновеннейшего золота; как у царя Кусмана коня из коней, аргамака – за которого хинский император полцарства отдавал, небесным жеребцом называл, – уводя, не мог золоченой уздечкой с самоцветами пренебречь. Тут, чтобы выручить его, пришлось Николе самому лезть волку в пасть. Ивану-то никакого риска не было. Афрон с Кусманом-цари совершенно надеялись на заговоренную сигнализацию, стража обленилась, дисциплины никакой. Если б Иванушка рук куда не след не тянул, все бы обошлось. А Елену-то Прекрасную выкрасть – совсем другое дело.

– Ту самую? – покачулся на локте фавн.

– Да нет, Алену Далматовну, красну девицу аглицкого рода царского. Хороша была, вот и прозвали как ту, вашу. Только Алена Далматовна не в пример прочим, что девкой честной, что женой верной всю жизнь... Эх, счастье, дураку досталось!

Волк покачал головой, налил себе и фавну.

– Выпьем. Не чокаясь. Я на Алену не в обиде. Слушай дальше. Умыкнул я королевешну, да повезли мы ее на коня менять, а Иван, как тут сказано, – Волк потряс книжкой, – пригорюнился. Ну и мне, ясно дело, жалко сластолюбцу Кусману в харим деву нежную, королевешну белолицую отдавать. И она все на Ваню поглянет – и глаза потупит. Думает, сердешная, для себя ее Иван везет. Я ж не зверь, пойми. Хоть и грустно мне стало: такая уж у нас с Иваном дружба укрепилась, а тут...

Спрятали мы Алену в избушке лесной, я ей – рубаху, тулуп, сам в ее платье нарядился, а молодой был, говорю, не заматерелый – в талии тонок, лицом гладок, румян. Голову платком повязал, к нему и серьги привесили. Повел меня Ваня к царю Кусману, да и оставил. Получил коня с уздечкой и поехал за Аленой. А я думаю: надо дать им уйти подальше, потому что, если погоня, то у Кусмана вся гвардия на таких коней посажена, уйдем ли от них – бабушка надвое сказала. И задерживаться там неохота: разберется Кусман, что к чему, будет мне почище твоего... Ему ж все равно. Восток! Опять же, стражи в хариме понатыкано – на каждой плитке по евнуху. Ну да все само собой устроилось. Только Кусман к устам... кхм... сахарным приложился, тут я не стерпел, прямо в объятиях его жарких сам собой обернулся, только зубы лязгнули. Полнолуние, понимаешь. Нервы ни к черту. Но и рвать его мне было вроде не за что: Иван сам по собственной дури вляпался, а царь в своем праве был. И ведь отпустил! А что за Аленой послал – так за воровство мог и на кол посадить. А договор соблюл полностью. Так что пуганул я его только, да в окно. Решетки там на окнах деревянные, составные, шебеке называются. Прошел я такую насквозь, да в сад, да через стену. Долго еще слышал, как визжит царь Кусман. Говорили, что с той ночи стал он в харим не ходок. Ни направо, так сказать, ни налево. Не понял? Ну и ладно.

Волк покрутил головой, вспоминая. Поболтал бутыл, удовлетворенно мхекнул, налил в стаканы. Выпили.

– Что бы ты думал – этим кончилось? Как бы не так. Теперь Ивану коня жалко стало. Пришлось Афрону-царю глаза отвести. Да не ему одному. Массовая галлюцинация – знаешь, что такое? Ну примерно. Вот-вот. А когда Афрон в седло полез... говорю же: полнолуние. Ваню-змея я еще терпел на хребте, но бздуна старого... И вот чему удивляюсь: эти царьки коварством на весь свет славились, а с Ванюшей – что твои котята. Ни один не обманул. Такую власть имел паршивец. Глазки ясные, брови домиком, улыбка кроткая, лицо честное-честное. Да я и сам... И ведь видел: нечисто дело. Клетка, уздечка... А вот. Ну, короче. Дело к концу. Эй, спишь, что ли?

Фавн разомкнул припухшие веки, помотал головой.

– Я слу... слушаю.

И понес руку к стакану.

– Погоди-ка, – Никола ловко плеснул им еще по одной. – Помянем братьев Ивашкиных.

Значит, дальше вышло так: проводил я Ивана с невестой до самого его батюшки царства. Там дороги наезженные, возов полно да так путников. Если волком, так нельзя мне с ними. А человеком – за аргамаком не угнаться. Да и Ванюша мой, сокол ясный, смотрю, нервничает. Все с Аленой, мне слово кинет как подачку. Говорю ему: «Мне дальше нельзя». А он так с облегчением: «Спасибо, мол, за службу верную, за дружбу горячую». Аж три раза до земли поклонился на радостях. А сам уздечку золоченую в пальцах мнет. Ну...

А напоследок я не стерпел: «Не навек прощайся, что ж ты... Может, еще пригожусь?» А у него в глазах, как вот в книге ясным почерком написано: «Куда же ты еще пригодишься? Все желанья мои исполнены». Сел на златогривого коня и поехал – с Аленой и с Жар-птицей.

А я – своей дорогой. Только далеко не убежал. Братьев его учуял: они неподалеку полдневали на полянке, след хороший, четкий остался. Ну, думаю, если братцы у Иванушки с той же яблоньки яблочки, быть беде. И хоть обижен на него был, кинулся нагонять. Добегаю – так и есть. Встрелились они, и уж лежит мой Иванушка, а над ним черны вороны кружат, а коня златогривого, и птицы – жаркой, и Алены дочери Далматовой след простыл. Ну, дальше я тебе из книжки зачитаю.

И зачитал. А как дошел до слов «тут их серый волк растерзал и клочки по полю разметал», вздохнул глубоко и горько и покался:

– Говорю же, полнолуние... Вот так-то вот. Ну, тут простился я с Иваном навечно. И то, видеть его не хотелось. До того не хотелось... Одно время думал: нагрюну, задавлю, как барана. Но как подумаю, сразу будто крови полна пасть. Братья его перед глазами маячат, как они от меня... один бежал, другой только пятился, глаза полоумные... И решил я: зря, что ли, я Серый Волк, синие леса мимо глаз пропускаю, реки, озера хвостом заметаю, скачу-лечу повыше месяца, пониже частых звездочек. Прыгну, куда глаза глядят, – глядят, да не видят. И будет хорошо: Иван-царевич уже помер, а я ни при чем. Разогнался я, да и прыгнул, только время тоненько взвыло, пожужжало, мимо пронеслось. И вот я здесь. За это и выпьем.

Утром фавн с не эллинской тоской в заведенных глазах с хрустом поедал квашеную капусту, запивая огуречным рассолом прямо из банки.

– Ничего-ничего, – утешал Никола. – Это тебе не пьяной горечью Фалерна. Привыкай. У нас без этого никак нельзя. Климат не тот. Зато и простуду поминай как звали. Шутка ли – голышом по снегу бегать? Порфирий ты мой Иванов. Семья Никитиных. Погоди, вот наведаюсь в деревню. Тулуп тебе справим, валенки.

Жизнь наладилась. Скоро фавн совсем освоился в подземном жилище и лихо кухарничал. Правда, Никола охотился чаще, потому что припасы поделили не поровну и не по справедливости. Иларию оказался вегетарианцем, и чтобы дотянуть до весны, Волку пришлось полностью перейти на скоромное. Волк и не жаловался. С Иларием было весело. Однажды Иларию захотелось рыбки. Стал он Серого подбивать: да где здесь море, да где здесь речка.

– Ты ж мяса не ешь?

– Мяса не ем. А рыба, она рыбка такая... – Иларию сглотнул слюну.

– Большая и маленькая, – с пониманием вставил Никола. – Ловись – ловись. Как же, знаем. Подождешь до весны. У меня к подледному лову наследственная идиосинкразия. Понял?

Иларию не понял, только вздохнул.

– Подожду.

Но едва весна приблизилась, стало ему не до рыбы. Сделался Иларий нервен и неспокоен. Желтое в глазах тлело янтарем, чаще затоптали по полу копытца: «Тум-тум. Тум-тум-тум». Все ему на месте не сиделось, а уходить далеко от Николина логова побаивался. Не забыл еще, как команда Сивого по всем правилам на него охотилась. И, вслушиваясь по ночам в отдаленный вой, теснее жался к мохнатому клубку в полкровати. Немаленьким волком был Никола. И то – поди-ка на себе царевича возить.

А весна прибывала, и прибывало фавново беспокойство. Как полили дожди, стал он дерганный, крученный весь. То и дело взмекивал скандально, напускался на Николу по сущим пустякам. Придет, бывало, Никола с охоты, в грязи по колено, промокший, падет у очага погреться, шкуру просушить. А фавн тут как тут:

– Грязи нанес! От тебя псиной пахнет!

«Чем от тебя пахнет...» – сощурит глаза Серый. – «Не попался ты мне в полнолуние. Остались бы от козлика рожки да ножки».

Потом пропадать стал Иларий. Уйдет с утра – и до ночи нет. Никола как-то отправился следом. Нет, ничего интересного: скачет по травке, потрусывая хвостиком, глаза хмельные, бормочет, приговаривает, а что – непонятно, да и не разобрать издали.

– Скушают тебя, Люш, – уговаривал, бывало, Никола. Без толку. Но заметил Никола, что и трава в тот год бодрее прежнего из земли лезла, и листья на глазах из почек выкручивались, и птицы вдвое громче пели, и цветы ярче цвели, а первая земляника много раньше срока заалела. Никола сперва на военных грешил, все приняхивался в сторону полигона.

Однажды Иларий к ночи не вернулся и ночью не вернулся. Никола вышел его искать, побежал по следу. Скоро услышал дудку незнакомую, мотив тягучий. Покрался кустами, логами на песню – к берегу реки. Выполз чуть ниже, и диву дался. Русалка здешняя Мавруша, бывшая от несчастной любви утопленница, тихонько пошевеливая гибкими ладошками, как плавниками, удерживалась у самого свода реки, ее белое лицо виднелось между дрожащими в течении звездами. Она как будто пряталась и слушала украдкой. На бережку над ней сидел кто-то, с приставленной ко рту двойной камышовой флейтой, и, покачиваясь, самозабвенно опутывал ночь и лес в ночи, и берег, и камыш, и течение реки одной непрерывистой мягкой неразрывной нитью, петля за петлей, слой за слоем. И ночь, и лес, и берег, и камыш под берегом, и река, и русалка, и звезды прошивались многожды и скреплялись друг с другом, и от этого ночь становилась все более и более ночью, а лес – лесом, а берег берегом, камыш камышом, и русалка русалкой. И даже звезды.

Волк лег на холодный влажноватый песок, вытянул морду поверх лап. Покой и тихая радость коснулись его души и, не встретив отпора, медленно прошли ее до самого... что самое в душе? Не надо о нем беспокоиться, понял волк. С этой-то дудкой. А слышали еще такое слово – «паника»? Он это устроить запросто может, единственный наследник Пана. Наверное, может. И он теперь никуда не уйдет от этого леса, этой реки, берега, русалки, трав и деревьев, птиц, наливающих ягод. И от меня.

Каспер

Сколько себя помнил, он мастерил кукол – из любого добра, что ни попадет под руку. Не постоянно, но рывками, запоями. Они не задерживались дома, расходясь по друзьям. Изредка он делал куклу в подарок специально – с такими легче было расставаться. Те же, кто оставался в доме, какое-то время нежно любимые висели на стене, приколотые к обоям швейными булавками, потом оказывались заброшенными в небрежении в дальнем шкафу, нижнем ящике стола, застревали между папками и старыми журналами в секретере.

Ему советовали делать кукол на продажу – он соглашался, но так и не смог. Ему казалось, что они слишком наспех сделаны. Не так, как делают кукол на продажу, а как рисуют набросок, торопясь уловить ускользающую жизнь, которую легче передать малым количеством точных штрихов, чем подробным выписыванием деталей.

Но ему говорили, что его куклы прекрасны. Что они – не просто так.

Он и верил и не верил, зная, как небрежно приметаны с изнанки все детали, зная, что если отвести шерстяные нити, изображающие волосы, от лица «манюни» – станут видны узелки и стежки, да еще черными нитками, потому что белая катушка в момент вдохновения оказалась чёрт-те где, видимо в другой комнате или, может быть, на кухне – кто б ее искал?

Ни выкроек, ни прикидок заранее – никогда. Он ловил жизнь непосредственно из лоскутов, протягивая их между пальцами, укладывая так и эдак, резал криво, стегал широко, наскоро пряча неровные края и подтягивая стежками то, что торчало не на месте. Глаза он делал из круглых черных блесток. Этого добра у него было много: когда-то ими была обшита повязка на голову, ее еще мать мастера носила в молодости. В детстве ему досталось за распотрошенную просто так повязку. Под плотной чешуей зеркально-черных блесток оказалась капроновая сеточка. Это было давно. Потом блесткигодились ему – он покупал другие, но с новыми, купленными в магазине, ничего не вышло. Манюни получались только с теми, старенькими, покрытыми уже по затускневшей поверхности тоненькими трещинками.

Мастер пришивал глаз черной ниткой, несколькими стежками-лучиками, и они вдруг оказывались распахнутыми ресницами вокруг блестящего зрачка. Рот мастер делал по-разному. Иногда даже просто подрисовывал фломастером улыбку, а то пришивал одну под другой две красные бисеринки – получались прелестные губки бантиком. Брови мог нарисовать, мог и вышить. Волосы нарезал из шерстяной пряжи и прядь за прядью пришивал к затылку. Мог оставить свободно болтаться по сторонам манюниного лица, мог с помощью ниток закрепить в умопомрачительной прическе. Пряжу выискивал в секундах – разрозненные моточки самых неожиданных цветов, и стоят совсем дешево. По секундам же – в ящиках с откровенным тряпьем – собирал лоскуты. Для того, чтобы наряжать своих манюнь, выманивал и выклянчивал вышедшую из моды бижутерию у всех подруг и подружек. Как-то так из ничего собиралась красавица-манюня. Отдавая в хорошие руки, он целовал ее и наказывал вести себя хорошо и принести удачу в новый дом.

Еще он делал арлекинов и пьеро, ангелов, принцев в кольчуге, связанной на спицах из тонкой медной проволоки.

И однажды он сделал Каспера.

Каспер был набит обрезами ажурных колготок тогдашней подруги мастера, и от этого натура его была нежной, ранимой и художественной. Это сразу было заметно по взгляду его широко расставленных глаз, которые мастер наметил двумя перекрещенными стежками черного шелка. Алым шелком он вышил Касперу застенчивую улыбку. Руки и ноги у Каспера были длинные и тонкие, очень гибкие – из Каспера, будь он человеком, вышел бы непревзойденный танцор или гимнаст. Мастер одел его в пестрое трико, как у арлекина, а красные туфли с длинными носками украсил большими желтыми бусинами, будто бубенцами.

Мастер раздумывал, не подарить ли Каспера подруге на Новый год или день рождения, но как-то неохотно раздумывал. Это всегда так бывало: расстаться с только что законченной куклой было выше его сил. Вот если бы Каспер сразу был задуман, как подарок, тогда другое дело... А Каспер был задуман просто как Каспер, он скорее даже сам придумался, мастер просто выпустил его наружу при помощи лоскутов и ниток.

Тем более, подруге Каспер не понравился: какой-то нылый, сказала она. Мастеру стало обидно за Каспера, но он ничего не сказал. С этой подругой спорить себе дороже было.

Так Каспер висел на стене, а подруга приходила почти каждый вечер, фыркала и советовала мастеру убрать подальше это убожество и не позориться. Мастер не спорил, но Каспера не убирал.

Может быть, лучше убрал бы. Может быть, ничего бы и не случилось.

А так Касперу было очень обидно. Мастер часто приписывал куклам свои чувства, и по его разумению Касперу было очень обидно, а мастеру было очень неловко перед ним. И постепенно, совсем по другим поводам, он стал часто спорить с подругой, все чаще и чаще, даже – и особенно – когда и повода-то никакого не было. А подруга стала появляться все реже и реже, наконец, совсем редко, а потом они очень громко поругались. Они и раньше ругались, и тогда подруга не приходила пару дней, а потом мастер сам ее приводил. А теперь он не привел ее.

Вот так, брат Каспер, сказал он. Вот так-так.

А Каспер молчал: что тут скажешь? Он чувствовал себя очень неловко, ведь это из-за него мастер поссорился с подругой. Ему даже стыдно было радоваться, что она больше не придет и не станет высмеивать его длинные конечности, рот до ушей (а как раз ушей-то у него и не было) и нелепые крестики вместо глаз (и прекрасно все видно!).

У мастера начался очередной период одиночества, а он их переносил с трудом, на грани депрессии. Вот, брат, говорил он Касперу, совсем не умею жить один. Плохо мне.

И от нечего делать стал разговаривать с Каспером. Так, между делом, обсуждал с ним, что приготовить поесть, если не из чего, – но вдвоем они непременно что-нибудь придумывали, ведь Каспер понимал, что мастеру есть необходимо.

Устраиваясь в кресле или на диване почитать хорошую книгу, мастер брал Каспера к себе: на колени, или прислонял спиной к животу, чтобы ему было видно. Вместе они слушали музыку и смотрели телевизор.

Надо же, говорил мастер, с тобой всё гораздо терпимее.

Но рано или поздно такие периоды заканчивались, потому что мастер на самом деле не мог жить один, и тот, кто присматривает за такими, как он, обязательно посылал ему человека, чтобы пережить еще часть жизни.

На этот раз их было двое. Мастер пришел домой с двумя очень милыми девушками. Одна была блондиночка, с застенчивой улыбкой, как у Каспера, и близорукими глазами, стеснявшаяся очков и почему-то не носившая линзы. Вторая была, представьте себе, дальнорезкой, и носила очки в элегантной оправе, и вся была эдакая... Волосы она красила в темные тона с какими-то особенно шикарными отливами и пользовалась яркой помадой, и все это ей шло чрезвычайно. Каспер для себя назвал их милочкой и красавицей, и мастер тоже – как-то они уже совпадали в мыслях...

Милочка очень смущалась, но смотрела на мастера очарованным взглядом. И Каспер ей сразу понравился, такой славный, открытый весь и очень нежный. Беззащитный такой.

Мастеру тоже больше нравилась милочка, а красавица просто была ее подругой, поэтому некоторое время приходила в гости вместе с милочкой, а потом перестала приходить.

Ну что ты, глупыш, утешал мастер. Не придет она – зачем мы ей? Такая она вся, вся такая! Смотри, какая милочка у нас добрая, какая ласковая, заботливая, готовит как – не то

что мы с тобой! По-настоящему. И котлетки умеет, и борщ, и блины. А чего не хватает – с собой приносит. И что ей туда-сюда с пакетами таскаться? Пусть уже у нас живет?

Пусть, соглашался Каспер, но шелковые крестики подмокали – совсем чуть-чуть, незаметно.

Что же делать, что же делать, терзался мастер, ведь я – вот, живой, сам себе человек, а он только через меня и может жить. И надо же! – я сам ее сюда привел.

Ничего, говорил Каспер. Ничего. Я же... я же не настоящий.

Маленький ты мой, да ты в сто раз настоящей ее, она же кукла самоходная, ну что ты... Ничего.

Потом у милочки был день рожденья, и она отмечала его у мастера. И пригласила свою единственную, с раннего детства, подругу. Ту самую. Красавицу.

Каспер встретил ее огромной улыбкой и букетом фиалок, которые мастер устроил ему в сложенные руки. И красавица подошла и взяла у него из рук фиалки и поцеловала в середину лица, потому что носа у Каспера не было.

Ничего так посидели: попили красного вина и чая, поели пирога и печенья, испеченных милочкой. Мастер рассказывал очень смешные анекдоты. Все смеялись. Красавица подарила милочке тушь для ресниц. Милочка смущалась, как всегда, а потом побежала с зеркальцем на кухню – пробовать.

Они остались втроем. Пойду, помогу ей, сказала красавица.

Подождите.

Да?

Хотите, я...

Иди сюда, у меня не получается! – позвала из кухни милочка.

Извините, сказала красавица.

Ну вот...

Потом они пришли обе – красивые-красивые. У милочки глаза стали в пять раз больше, и губы она накрасила красавицыной помадой. Да ты у меня красавица, сказал мастер. Но для Каспера было не так.

Давайте танцевать, сказала красавица, даром я, что ли, кассеты принесла? Давайте мамба намба!

И они стали танцевать, а Каспер смотрел на них из кресла. Ему тоже хотелось танцевать, чтобы красавица увидела, какие у него необыкновенно гибкие руки и ноги, и как чутко он ловит ритм. А еще бы медленный...

И мастер посмотрел на него и пригласил красавицу на медленный танец, и поставил любимую касперову стрейнджерз ин зэ найт. Еще, просил его Каспер, еще! И мастер танцевал и танцевал с красавицей, не выпускал ее из рук, и еще долго не отпускал из гостей, так что автобусы уже не ходили, и пришлось ловить мотор. Когда он пошел ее провожать, он оглянулся на Каспера и сказал: хотите, подарю его вам.

Ну что вы! Он очень милый, но куда же я его?

На стену. Или на подушку. Он очень мягкий.

Я уже не маленькая, важно ответила красавица. А на стене у меня он смотреться не будет. И не в стиле совсем. Спасибо, не надо.

Видишь, я сделал все, что мог.

Спасибо.

Когда мастер вернулся, милочка плакала, заливалась слезами. Мастер попытался ей все объяснить. Она не поверила. Ты совсем свихнулся со своими лоскутками. Устроился бы лучше на работу. Так я и поверила. Конечно. На нее все мужики западают. А ты со мной только потому, что она на тебя и внимания не обращает.

Да нет же! Ты самая милая!

Вот-вот. Милая. Всего-то.

Да я же люблю тебя.

Что ж ты раньше не говорил? Только сейчас. Все, нечего мне мозги пудрить. Не маленькая.

Ну все, хватит, взорвался мастер. Это он на Каспера закричал. Хватит. У тебя внутри – старые рваные колготки, я сам тебя сшил, и не очень хорошо к тому же. Все наружу. Иди-ка сюда. И мастер булавками приколот его на место, на стену.

А милочка... ну, она ведь тоже любила мастера, и дала себя утешить, и Каспер со стены смотрел на то, как сползало, сползало и наконец сползло на пол одеяло, смотрел и смотрел, потому что, приколотый булавками к стене, не мог ни отвернуться, ни закрыть глаза.

Но боль боли рознь, и боль от булавок, когда их, вонзенные в затылок, и руки, и ноги, приходится выдирать из обоев, все же легче перенести, чем ту, которая терзала колготочное нутро. Под утро милочка спросила, что это, как бубенчики звенят? Ой, это здесь, что это, мама! Мастер приподнялся – только тень метнулась в темном коридоре, лязгнул замок.

Вот паршивец! Мастер прыгал на одной ноге, не попадая в джинсы, и бормотал: свихнулся, да? я же говорил!

Лифт еще не работал, и мастеру пришлось бегом по лестнице с девятого этажа – спрсонок чуть ноги не переломал. Каспера он нашел перед подъездом, в луже. Он лежал вниз лицом и вокруг его головы покачивались синеватые бензиновые круги – колеблющимся нимбом. Видимо, он выбросился с балкона: на некоторых этажах двери на общий балкон давно и окончательно были сломаны.

Тоже мне, Анна Каренина, почему-то сказал мастер и вынул Каспера из лужи. Он был мокрый насквозь, грязная вода текла с него ручьями. Живой? Каспер кивнул и всхлипнул. То-то же. Ну и что мне теперь с тобой делать? Может быть, я еще уговорил бы ее взять тебя – лежал бы где-нибудь на шкафу в чемодане. Хотя, конечно, какие у нее чемоданы на шкафу... А теперь? Мастер ощупал голову Каспера – вода потоками излилась из покривившихся крестиков-глаз. Маленький мой... И – что было делать? – мастер прижал его к голой груди, потому что когда человек страдает, нужно прежде утешить, а потом мыть и сушить. Хотя... Мастер подумал, что мытье и сушение сами по себе – процедуры приятные и утешительные, и потому решительно направился домой – вверх по лестницам девяти этажей.

Ты же человек, говорил ему мастер, выставив из ванной всхлипывающую милочку. А раз человек – обязан терпеть, даже когда терпеть немоготу. Нечего унижаться. Глаза не щиплет? Терпи. Да кто она такая, чтобы ты из-за нее – в грязную лужу?

Я хотел умереть.

Не выйдет.

За что? Разве ты не можешь меня распороть?

Что? Урод несчастный. Ни за что на свете. Подожди. Я тебе скажу страшную вещь. Это только еще первая любовь – мы все через это проходим. Тебе еще любить и любить... Как кого? Откуда я знаю? Я мог бы сделать для тебя манюню, но, во-первых, тебя это не устроит, правда? Во-вторых, не знаю, выйдет ли еще такое чудо. И в-главных, нельзя же создавать человека, не оставляя ему выбора. Да и ты ведь не кукла, и не куклу хочешь любить.

Так, а теперь придется повисеть вот здесь, пока вода стечет, а потом положим тебя на батарею...

Что значит, зачем ты меня сделал? Что значит, ненавижу? Я тоже так умею говорить, когда совсем плохо...

Эй, что это в тебе ворошится? Так... так-так... милый, да никак у тебя завелось сердечко... Живи.

(— Каси, знаешь, я должна тебе сказать... Может быть, ты даже разговаривать, даже видеть меня после не захочешь, но я не могу... Я хочу, чтобы все было честно. Между нами такое... Я не думала, что любовь – это так. Вот так. Понимаешь?

— Не говори ничего, не надо. Если ты так боишься, не говори. Зачем? Что угодно, все-все, что угодно, скажи – и ничего не изменится. Это не я тебя люблю, это не ты меня любишь, это сама любовь в нас.

— В тебе – да. А во мне что... Я тебе скажу.

— Ты дрожишь вся.

— Я скажу! Я должна тебе признаться. У меня сердца нет. У меня внутри...

— Рваные колготки? – обрадовался Каспер.

— Нет, – растерялась она и беспомощно захлопала ресницами. – Синтепон от старой куртки...)

Здравствуй, Валерк

Вот пишу. Все так как-то странно. Даже слов не собрать. Как об этом говорить, еще совсем непонятно, наши, кто остался, смотрят только друг на друга и молчат. И глаза у всех плоские, одинаковые.

В воздухе какие-то хлопья. Ветра нет, кончился, и они падают, падают, кружатся – днем темно-серые и светятся в темноте. Я боюсь их трогать, хотя это, наверное, уже не важно. Да?

Как у вас там? Так я и не побываю в Киеве. Уже нет.

Помнишь, хотели встретиться в октябре? А потом не сложилось. И все теперь. А так хотелось на тебя хоть раз посмотреть живьем – спорить с тобой интересно, и теперь признаюсь, что ты меня по всем пунктам на лопатки уложил, только это еще не значит переубедить. Представляю, что ты сейчас сказал бы мне про «доброго боженьку». А что я тебе отвечу? Что все это давно было обещано? И что мы, рассчитанные на вечность, не должны этого бояться? Что это не конец? Что все только начинается? Пустые слова. Да?

Ты извини, если ошибок много, ни фи́га ж не видно, экран черный. Наощупь пишу. Клава шелкает так привычно, успокаивает.

Да понимаю я, понимаю, что ты это письмо не получишь. Понимаю. Тут вообще все электричество... В холодильнике темно и душно. Что-то капает с полок. Пахнет нехорошо. В магазине уже ничего нет. Пока там стреляли, духу не хватило, а сейчас уже без толку. Только мертвые люди. И в «Алексах». И в круглосуточном. Про супермаркеты я и думать не хочу. Угораздило же меня подсесть на эту диету – ни крупы теперь в доме, ни картошки. А мясо протухнет. Если только никто не придет за ним. Знаешь же, какая у меня дверь. А, ну откуда! Так дверь у меня на честном слове держится – пару раз приходилось выламывать, когда ключ терялся, а еще раз выломал сосед, когда мы его залили. Так руки и не дошли хорошую дверь поставить. Теперь уже не важно. Знаешь, как смешно теперь думать обо всем, что так долго и надолго откладывалось, за что годами мучила совесть. Ну, была бы у нас новая стальная дверь. И что? А еще – правильно, что за квартиру не платили. Хоть пожили на эти деньги. А теперь все равно – пропало все.

Думаю, может, выложить мясо на лестницу, пусть берут? Спасти оно меня не спасет. А убьют за него запросто. Как ты думаешь? Хотя смешно сейчас бояться, что убьют. Уже всех убили.

Но не хочется грубости, понимаешь?

А ты, может быть, уже кружишься этими хлопьями и залетаешь в окно. А я тебе пишу.

Так хотелось пройти с тобой по Крещатику. Сколько раз по ночам, пока не засну: а как бы ты меня встречал на вокзале, а как бы мы узнали друг друга? И что написать тебе: на мне будут черные джинсы и серая куртка, и смешная такая шапочка, то ли под летчика, то ли под танкиста... Мне казалось – начинаю в тебя влюбляться. Вслепую. Издалека. Вечно мне нужно было что-нибудь недостижимое. Всегда так бывало: влюблюсь, – и не дай Бог, человек мне ответит чем-нибудь тем же. За что только ни прячусь, начиная с религии. Грех ведь. Как та улитка, тут же рожки втяну – и не надо мне оно. Мне вообще нравилось сравнивать себя с улиткой, потому что рюкзак был моим домом-на-спине, только вот до тебя мы доехать не успели, а как жаль. Ты едва ли влюбился бы в меня («как умный человек может быть христианином?»), да и мою влюбленность не стоит всерьез воспринимать, особенно теперь. Вот теперь у меня действительно серьезная отговорка: конец света – какая уже любовь!

Валерк, Валерка. Валерочка. Не стесняюсь. Чего теперь стесняться? Чего стесняться человека, который уже лежит на подоконнике толстым слоем пепла и залетает, и сыпается,

стекает на пол. Чего стесняться человеку, которого уже убили, так нелепо, так случайно, в такой большой толпе. Валерочка. Валера. И все.

Чего я тогда пишу, спросишь ты? Не знаю. Я не знаю. А что еще делать? Воды нет. В кране нет. А в Преголе она знаешь, какая? Конечно, это уже неважно. Пока оставались яблоки, ничего. А теперь придется пить из Преголи. И как хочется пить, когда воды нет. Так же, как хочется есть, когда нет еды. Эта мысль совершенно неотвязная: чего бы съесть. Интересно, от чего я умру. От чего именно. Понимаешь, у меня ничего не болит, только тошнит слегка. Но меня здорово об стену приложило, может быть, просто сотрясение. От этого же не умирают? Я не чувствую ничего такого... особенного. Ничего умирательного. А на улицах тоже столько мертвых людей – и совершенно непонятно, от чего они умерли. Просто лежат, целые совсем. И другие ложатся на асфальт между ними, потягиваются и затихают. И все. Мне все видно из окна.

Валерка, я тебя люблю. Не имеет никакого значения, что я набираю эти буквы вслепую на клавиатуре мертвого компа. Ты мертвый, я тоже. Очень скоро. Поэтому – то, что никогда в жизни, ни за что ты не услышал бы от меня.

Тошнит как-то нудно – не сильно, но все время. И плохо видно клавиатуру. Ты, наверное, ничего вообще не поймешь, да и ладно. И не получишь ты это письмо, я помню. И не имеет никакого значения, что я пишу тебе про любовь только потому, что мне некому больше – и уже никогда не будет, кому сказать это, потому что все умерли, потому что я не успею – а казалось, что это еще Отче наш

Шаман

– В твоём мире так, а в моём – эдак.

– Да помилуй, Яку, мы в одном мире живём.

– Не-а. Как же в одном. В разных.

– Чушь какая.

– Не, не чушь. Мы с тобой, Макс, живём в разных мирах.

– Чушь, поэзия и метафизика.

– Да помилуй, – передразнил Яку, – какая метафизика? Если ты смотришь на эту стенку и говоришь, что она белая, а я смотрю на эту стенку и говорю, что она – красная, кто возьмётся доказать, что мы находимся в одном месте? Как это вообще возможно доказать?

– Ну, положим, я понимаю, что ты имеешь в виду. Парение мыслей над множественностью миров. Но...

– Честное слово, эта стена – зелёная, – невинным голосом напомнил Яку.

– Ну... А вот что! Что бы ты ни утверждал, физические приборы регистрируют пребывание нас обоих в одном месте.

Яку сокрушённо вздохнул.

– Что за мода, – безнадежно протянул он, – какой-то бездушной коробке доверять больше, чем честному слову порядочного человека?

Яку натянул куртку, подхватил рюкзак, звякнувший во всю мощь трех латунных бубенцов, и отправился домой.

Огромная луна царил в небе, заливая потоками бледного света редкие рваные листья, промокшие стволы деревьев, хлюпкую жижу на булыжной мостовой, угольно-черные лужи. Было совсем не холодно и безветренно, влажный воздух казался приятно теплым.

Яку нес на лице растерянную улыбку: в скольких мирах живет он сам, кто бы посчитал... Хотя, конечно, физические приборы сколько угодно могут регистрировать его безотлучное пребывание в этом единственном мире, где у него есть дом, работа, друзья, любимые...

Но когда шаман совершает свои полеты – разве соплеменники не видят его глазами так же ясно, как всегда? А он не здесь, он – не здесь.

Яку понимал, что называться шаманом ему – редкостная наглость и самозванство. Какой же он шаман – без бубна? Но, но, но... Уж слишком все сходилось.

Начать с того, как его загоняли. Вот как.

Ночь. Поэтому темно. Поэтому страшно.

Одеяло – единственное спасение, нос наружу, остальное упрятано в плотный кокон из ваты и сатина. Иногда хочется открыть глаза и убедиться, что в комнате нет никого, кроме тебя и темноты, но открыть глаза нельзя. Ты знаешь, что кто-то есть. Ты ощущаешь присутствие, нечто, нависающее над тобой, неподвижное, внимательное. Оно не тронет тебя, если ты будешь лежать тихо, почти не дыша, не шевелясь и не открывая глаз. Оно совсем рядом, оно почти касается одеяла, и ты слышишь его даже не кожей, а внутренней поверхностью кожи. Оно не уйдет, не отступит. Но если ты потихоньку заснешь, утром его уже не будет. Спи. Но оно не подпустит к тебе сон.

Складка простыни намнет бедро, рука под головой затечет, зачесется нос. Ты уже почти засыпал, но придется медленно, осторожно высунуть палец и почесать кончик носа, сдвинуться ниже, медленно-медленно вытянуть руку вдоль туловища, опасаясь нарушить целостность ватного кокона, внутри которого жарко и влажно, но так безопасно. И снова

замереть. И почти уснуть. Но даст о себе знать естественная гидравлика, и ты будешь мучиться и терпеть, пока возможно и еще чуть-чуть.

А потом – панически быстрым движением выкинуть руку в темноту, с трудом найти кнопку ночника, покрываясь холодным потом. Лампу под потолком включить, чтобы свет попал в коридор, из-за угла нащарить ладонью выключатель, пройти освещенное пространство, стараясь не приглядываться к темноте за волнистым стеклом кухонной двери, шмыгнуть в тесноту сортира.

На обратном пути придется весь этот свет выключать и идти спиной к настигающей тебя темноте, ожидая прикосновения и не смея обернуться.

Ты упакуешься в одеяло с головой, судорожным движением втянешь голую беззащитную руку, погасившую ночник. Замрешь. И темнота неторопливо обступит тебя и нависнет над тобой.

Когда из окна просочится холодный серый свет, ты вытянешь шею, освобождая лицо и жадно ловя прохладный воздух, распрямишь затекшее тело, перевернешься на живот и наконец заснешь, улыбаясь.

Как его загоняли! Шаг вправо, шаг влево – чудовища настороже. Темнее самой темноты приходили гости, стояли над душой. И никуда от них...

А там, далеко, куда не было времени пристально вглядываться, из ничего воздвигались горы, взмывали мосты над бурливыми реками, разливалась зелень долин, и лица человеческие, блистая разумом и красотой, представляли ему и смотрели на него со спокойной требовательной надеждой.

Но они были по ту сторону врат и ждали, чтобы он открыл их.

А ему не до того было. Вернее, ей.

О как! Не правда ли, вам приходилось слышать, что это распространенное явление среди шаманов?

Просто однажды она проснулась – и не нашла себя.

Ты озираешься в безмерном удивлении. Что изменилось? Что изменилось вокруг? Откуда эта сосущая, как недоброе предчувствие, пустота внутри? Окно осталось окном и солнечный свет – солнечным светом, красновато-коричневая краска на потертом полу так же тускла, как вчера, и стена напротив не изменилась, золотистый узор змеится по обоям цвета кофе с молоком.

Ты пьешь чай и не понимаешь, хорош ли он, нравится ли тебе его вкус, крепость и красноватые блики в глубине. Ты сидишь на табуретке, и не понимаешь, удобно ли тебе сидеть вот так, и как ты сидела вчера, какая нога должна быть сверху, каким локтем опереться на стол. И, в конце концов, как тебе, не горячо ли? И сколько ложек сахара ты кладешь обычно – ты не можешь вспомнить, и поэтому никак не определишься: не слишком ли сладок этот чай, не положить ли еще ложечку?

И от этого тебе неуютно. Ты возвращаешься в постель – и снова в растерянности. Свернуться клубком или вытянуться, или, как в детстве, одну ногу вытянуть, другую – почти к подбородку... но какую из них? Ты не помнишь.

Ты достаешь из-под подушки книгу, которую вчера никак не хотела выпускать из рук, хотя уже раз в пятый, с трудом разлепляя глаза, начинала все тот же абзац. Ты обнаруживаешь, что совершенно не представляешь, о чем там шла речь.

Так проходит неделя. И другая. Ты не помнишь, что важно для тебя в жизни, что – так, ерунда. Ты не знаешь, как относиться к старым шуткам, которыми приветствуют тебя

друзья, не знаешь, по каким улицам тебе нравится гулять, и, в конце концов, какую же погоду ты предпочитаешь.

Тебя нет. Это очень неуютно. Оказывается, привычки и есть нити той основы, сквозь которую прядь за прядью продергивается уток событий и поступков, и даже совершенно пустых минут и часов нашей жизни. А теперь основа исчезла – и отмотавшуюся нить некуда девать, и ты стоишь в растерянности, руки твои спутаны, ты не можешь пошевелиться, потому что есть множество способов сделать это, но ты не знаешь, какой из них принадлежит тебе.

Какая музыка тебе нравится?

Ты даже этого не знаешь.

Это совсем не то что в течение недолгих лет твоей жизни постепенно обзаводиться вкусами и пристрастиями. Это совсем не то что даже не иметь еще определенных склонностей к тому или этому.

Чистый лист. Внезапно. Непривычно чистый лист там, где были тома и тома.

И ты идешь – в который уже раз – к зеркалу и смотришь, смотришь в глаза того человека, который тоже смотрит на тебя оттуда и тоже не узнает...

И однажды видишь, что к этому взгляду совсем не подходит то, что на тебе надето.

А чуть позже вечером приходит подруга – да вы знакомы еще со школы, вы друг друга наизусть знаете, и речи, и повадки, и все-все-все, потому что это та самая старая подруга, которую не назовешь лучшей, но которая давнее всех, и в вашей дружбе нет ничего из того, что дураки приписывают дружбе женской, вы честны и независтливы друг к другу. И вот она приходит, и вы сидите и пьете пиво, а она вдруг мотает головой, жмурится, смеется, и говорит:

– Ты у меня в глазах двоишься. То ты, то – не ты.

– Как это? – настороженно спрашиваешь.

– Ну... это не твои слова и не твои жесты.

И ты долго пытаешься объяснить ей, что с тобой происходит, а она кивает и вздыхает, и удивляется, и понимает все.

И ты живешь дальше, уже не ты, снова ты. Потому что теперь ты – вот этот чужой и непривычный человек. И только очень постепенно у тебя получается полюбить его, как себя самого.

Яку идет домой по блестящей дороге под царственной луной, на рюкзаке в такт его шагам позвякивают бубенцы. Яку обдумывает, из чего бы соорудить на зиму шапку с меховым хвостом, как бы украсить ее кожаными шнурками, и чего бы к этим шнуркам присобачить эдакого, чтоб смотрелось... И хорошо бы хоть маленький бубен.

Яку знает, что он – не шаман. Но, но, но...

Темные чудовища не приходят к нему уже и не придут. Пустота не сосет ему нутро, никогда больше.

Он откроет врата, множество врат, великое множество. Кто он такой – Яку? Открывает врата и идет туда, куда его зовут. Открывает врата и чувствует прикосновения ветра к своему лицу, чужого ветра, иного, нездешнего. У него другой вкус и другой цвет, он бывает шелковист и шершав, холоден и горяч. И Яку, наклонившись, входит в поток ветра, идет искать нездешних ответов на здешние вопросы.

День за днем и ночь за ночью его пальцы топчут клавиатуру, он не знает усталости, он не знает покоя. Он приводит сюда тех, кого встречает по ту сторону врат.

Нет, он не провожатый. Он пытался учиться, он читал труды литературоведов. От них мысли сбивались колтунами, которые легче выстричь, чем расчесать. Он пытался управлять

героями, составлять планы, вычерчивать схемы. Вкладывать душу. Герои терпеливо стояли рядом, недостижимые, за внезапно захлопнувшимися вратами, дожидаясь, когда он одумается. Там, куда он вкладывал всего себя, не оставалось места им. Разве он может называть себя писателем?

Нет, он не шаман, но...

Нездешний ветер не помещается в груди, но когда он наполняет Яку, тот сам становится ветром. И гулко-гулко стучит в груди сердце, и слабеют руки, и так легко, и так трудно дышать. Яку не здесь, Яку – не здесь.

Он не провожатый, он – врата.

Он становится ветром, потому что только сам ветер может направлять свой полет, никто другой ему не указ.

И гулко-гулко стучит в его груди сердце, когда он отправляется в полет.

Он не шаман, нет.

Он просто Яку. Сам себе ветер и бубен, сам себе врата.

И все же, и все же...

Он сильный шаман, Яку.

Из трав и цветов

Лопата под ногой послушно лезет в мягкую тяжелую землю, послушно выворачивает пласт, перекидывает его кверху черным влажным брюхом, поднимается, лезет в землю снова. Немного уже осталось. А черви какие толстые, важные... Уж эти разрыхлят!

Что там у нас с рассадой? Помидорный запах щекочет ноздри, перечной искрой прижигает кожу. Опять все руки в волдырях будут. А что делать? Хоть за дачу теща Маринку не станет поедом есть. Она, конечно, всеядна тварь, но хоть за дачу – не будет. Теплицу тебе? Вот тебе теплица. Рассаду тебе – вот тебе рассада. Ладно, все ж таки детям помидоров достанется, а зимой – салаты, тут уж теща Любовь Иванна мастерица, ничего не скажешь. Откроешь банку – от запаха слюнки текут ручьем. Вот и прошла жизнь, и прошла мимо.

Вдалеке детский голос взлетел легко, песенка проста, да слов отсюда не разобрать. Лет шести? По голосу – да, но так уверенно и чисто поет. Лет шести, наверно – двойняшки так же заливались, и голоски рвались на высоте, а все равно мило выходило, а у этого не рвется, чисто выводит. А слов не разобрать. А мотив такой простой и знакомый-знакомый, но не вспомнить. То ли Уитни Хьюстон, то ли Селин Дион.

Много есть такого, чего не вспомнить, а еще больше – и не вспоминать бы. Прошла жизнь. Ведь сорок уже – а казалось, люди столько не живут, люди – до двадцати, ну чуть больше, а дальше – пожилые, старики...

Сколько же ему было, когда он встретил Книгу? Да за двадцать, далеко за двадцать уже. Потому, может, и не прибил к своим, ну, то есть, какие они ему свои? Какой он им – свой? Он – так, посторонний. Домосед. Человек семейный. Только смотрел издалека.

Как-то он встретил девушку-эльфа: в черном, в серебряном плаще и с гитарой. Они шли вместе с католическим паломничеством в Будслав, и один раз он помог ей нести рюкзак. Но он ни о чем не спросил ее – ему было говорить об этом не то что стыдно, а как-то неловко, как о чем-то совсем личном. При одной мысли об этом краска заливала его лицо, и он так и не решился.

А может, другого побоялся. Маринка на эльфа совсем не похожа. Толстопятая, широкая в кости, монгольские скулы. Она и в молодости стройной не была, а после родов вовсе расплылась. И характер здешний, основательный. Вышивает красиво. Скатерти, салфеточки всякие. Прихваточки на кухню.

Хорошая она. Сто лет они знакомы, разговоры по душам за полночь. И так вот оно получилось...

Что ж за песня такая знакомая, аж душу ломит, слова близко-близко, а не расслышать, даже внутри себя, в памяти – не расслышать. А, вон они. Пятеро их, не считая малыша на плечах у самого высокого. Там, через дорогу, идут от леса, а солнце висит над лесом уже, не разглядеть. Грибники? Или так, с пикника, с шашлыков. Это скорее. А голос у ребенка звонкий, далеко слышен. Что за песня? Селин Дион, что ли? Да вроде нет... Мужик, что ли, ее поет. Как же его, как?

А еще однажды он сидел с друзьями – здешними друзьями – возле озера на травке. Мимо них прошел парень в клетчатом килте, в высоких ботинках и с мечом за плечами. Широко шагал – длинные волосы били по спине, брови сосредоточенно хмурились, губы – улыбались.

Он проводил парня взглядом, подумал мимолетно, какую бы себе одежду смастерить, глотнул пива и закурил. Все равно каждые выходные – на дачу, а то Любовь Иванна с утра в понедельник позвонит Маринке на работу и живописнет в подробностях, как осыпается смородина, и сохнут огурцы, и как бомжи клубнику оборвали, а вот если бы он вечером

в пятницу приехал, так, глядишь, успел бы собрать, а ей ведь не для себя, ей-то чего уже, отжила свое, а вот девочкам...

И права.

А как было!

Иногда он уходил в лесок через дорогу, садился на выступающие из земли корни, опирался спиной и затылком на шершавый ствол и часами оставался так – грезил. Иные леса виделись ему, и сам он – иной; и являлись не сюжеты даже – осколки и эха ощущений, мгновенные прикосновения чувств. Чьи-то глаза виделись ему, чьи-то руки оставляли теплый отпечаток на плечах, чей-то тонкий запах – нагретая солнцем нежная чистая кожа и мята – кружил голову.

Он бросался в истории, сочиняя их для себя, он проживал их вовсю, не щадя сердца. Там у него были друзья, были любимые – вернее, всегда она, любимая, только придумывал он ее каждый раз по-разному, но оба знали, что это только игра, ведь и себя он сочинял каждый раз заново, или придумывал новую историю тому же, кем был в прошлый раз. И друзья – те друзья, оттуда – тоже догадывались об этом: притворялись, принимали его игру, но были-то теми же! Он сочинял им как бы множественность миров и воплощений, и в этом была высшая верность, потому что в каждом воплощении им самим было легко узнать себя, а значит, он был верен им.

И была там песня, что-то про осень и про изгнанника, что-то про лето, ветер и шиповник...

Но все реже и реже он уходил в лес, потому что обваливался колодец, и осыпалась смородина, и сохли огурцы, и надо было носить воду из пруда, и копать, и собирать, и пропалывать, и снова копать, и натягивать пленку на теплицу, и собирать, и сажать, и копать, и снова... Не Маринке же пахать, с ее вечными мигренями и женскими болячками...

Любовь Иванна все пилила дочь: другой бы мужик денег заработал, людей бы нанял, колодец укрепил, домик толковый выстроил бы...

А люди в это время учили английский и Квэнья или Ах'энн, играли на гитарах и флейтах, уходили из дома, играли и жили, бросали учебу, вспоминали свою настоящую жизнь, шили и плели, травились наркотиками и алкоголем, звенели кольчугами, жили, умирали, влюблялись и расставались, теряли здоровье и рассудок, заводили друзей, разочаровывались, рубились на мечях, творили, шатались по дальним городам, попадали в жестокие переделки, жили свободно, свободно, шагали с крыш, попадали в психушки, находили себя, теряли себя, жили, пели, слагали стихи, жили, жили...

А он вот – детей поднимал. Не умел зарабатывать, да так и не научился. Так, для галочки работа, чтоб совсем уж у Маринки на шее не сидеть, да и она давно махнула рукой, что с него возьмешь. Вечно глаза пустые, что он там себе видит? Новых джинсов девочкам не высмотрит, сколько ни пьялся в пустоту. А они уже невесты совсем, шестнадцатый год...

Не сказать, чтобы в эту дачу он душу вкладывал. Все равно ему было. Лишь бы не чувствовать себя паразитом. Копать так копать, сажать так сажать. Главное, чтобы теща Маринку не пилила. Что с ней сделаешь? Старая уже, не перевоспитаешь.

А что росло все как само собой, и напастей никаких, ни болезней, ни вредителей, так везучий он, и всегда был везучий. Только вот с помидорами у него не складывалось никак, аллергия у него на помидоры. Любовь Иванна и тут свое слово сказала, конечно: что ж он у тебя за неженка, белоручка, неприспособленный какой-то. Ну, больше он и не заикался на эту тему.

А люди в это время...

А он...

И вот: только смотреть теперь издалека, как эти пятеро – и ребенок на плечах у самого высокого – переходят через дорогу, видно к автобусной остановке, что за дачным массивом,

направляются, все одеты, как люди. Плащи на плечах – с изыщной небрежностью, бисер переливается на запястьях, в волосах, мечи у стройных бедер, улыбаются чему-то, да так ярко!

Сюда идут, прямиком к калитке.

Конечно, он не мог не знать о них. Что они собираются вместе, что они одеваются в плащи и туники, рубятся на деревянных мечях, плетут кольчуги... В общем, знал то, что мог узнать любой средний человек. Много раз, прежде, когда не было у него еще жены и двух дочек, думал: пойти к ним... А возраст? Ну, он всегда выглядел на редкость несолидно, мальчишкой, а в душе и был дитя дитём, Любовь Иванна так и говорит: дитя дитём, что с него возьмешь?

И какое-то время эта мысль преследовала его неотступно. Пойти к ним... Он решил пойти к ним.

В тот год Маринка выгнала мужа и осталась «одна с двумя дитями». Ей было очень плохо и страшно, и она стала срываться на детей, кричать и замахиваться на них, и как-то раз он увидел, что, едва она повысила голос, малявки съежились и заслонились руками.

Он переехал к ним и стал ей мужем и домашним психологом по совместительству, а у ее матери была дача, и каждые выходные надо было отрабатывать повинность там – чтобы мать не ела поедом Маринку хотя бы за это. И дети, опять же. Им нужен был он, много его, и как-то не выходило выкроить время и пойти на поляну.

И только смотреть теперь, как они идут к калитке, а ребенок уже не поет, только смотрит во все глаза, как будто никогда не видел дядю в простой здешней одежде, как будто всю жизнь вокруг эльфы в текучих, летящих плащах, мерцание камней в рукоятях, тайное гудение тетивы, глаза яркие, голоса тихие и звонкие, шепот и пение одновременно, и это тебе, тебе они говорят: что же ты стоишь, брат, не рад нам, не узнаешь, все сбылось, все исполнилось, теперь ты с нами, навсегда, я так скучал по тебе, братик...

Мальчик протягивает руки и называет твое имя – ударом в сердце, толчком крови в голове ты слышишь его, и лопата падает из твоих рук, и ты поднимаешь ладони к лицу и видишь летящий от них свет, и слышишь, и понимаешь – каждое слово, каждое слово, и песня, которую пел ребенок, она твоя, и теперь вернулась, эхом отразившись от твоего беспамятства, вернулась и встала вокруг...

Я не могу пойти с вами...

Теперь ты знаешь все, и только киваешь – осторожно, потому что кружатся грядки и деревья вокруг, и светлые лица братьев, пересказывающих тебе – а ты и сам уже вспомнил – историю о том, как не осталось твоему народу места на этой земле, а уйти не хотели, не верили, что может такое время нагрянуть, что им – им не будет места, им, этой земли первенцам и возлюбленным наследникам. А когда поверили – пути не было отсюда. И тогда сказано было: уйдет из дома один, и будет один, и один устроит ворота из трав, и цветов, и своего сердца. И вот: здесь, на этой самой земле, где и воздух, и вода, и солнечный свет убивают и калечат, ты вырастил сад настоящий, как дома. А дома нет уже – но вот, здесь, между этих грядок можно, закрыв глаза, пройти, осторожно ступая, и открыть глаза уже не здесь.

Пойдем с нами! Скоро придут все – мы уже послали им весть, они придут, и мы снова будем жить, как прежде.

А она, спрашиваешь ты, едва мир останавливает вращение. И братья отводят взгляды, и ты опять все понимаешь: немногие уцелели в этом мире, уже не нашем.

Но тогда... двойняшки, и Маринка, и старая дура Любовь Иванна, несчастная женщина... Но я же только ради этих ворот, а теперь я свободен! Но двойняшки, и Маринка... и старая дура, несчастная женщина...

Я не могу. Вы... вы идите, я когда-нибудь... Нет. Стойте, не двигайтесь. Вот, сейчас, подождите.

И я становлюсь на колени и рву, рву, тащу из земли помидорные стебли, обжигающие ладони. Иначе им не пройти.

Семь городов

Случаются и в наши дни истории настолько невероятные, что остается только удивляться Провидению, позволяющему нам, грешным, подглядеть малый уголок тайного узора. Он запутан, однако, таким образом, что и увидевший не сразу разберется, что к чему, а разобравшись – не поверит глазам. И нет ничего страшного в том, чтобы рассказывать подобные истории, ибо непосвященный примет их за басни и выдумки, подивится и забудет.

Но тех, кому предназначено высшее, эти истории могут озадачить и подвигнуть к размышлениям, способным вывести на уготованный путь.

Итак, скажу, что со времени благотворного вочеловечения Сына Божия минуло 1357 лет, когда в нашем славном городе, прекраснейшем среди всех итальянских городов, произошли события, не привлекавшие ничьего особенного внимания и оставшиеся незамеченными, но весьма поучительные для тех, кому дано слышать голос предназначения и верить ему.

Поздним вечером в середине мая упомянутого года в дом славного медика и чрезвычайно ученого человека, имя которому было маэстро Маццео делла Монтанья, постучался один из жителей нашего города, по имени Руджьери, сын весьма богатого купца Ламберто Руффоло.

Молодой человек выглядел до крайности удрученным и едва смог произнести несколько слов приветствия. Маэстро Маццео, хоть и досадуя, что его оторвали от ученых занятий, однако растроганный несчастным видом посетителя, предложил ему присесть в кресло. Но Руджьери, внезапно упав перед ним на колени, порывался целовать руки медику, а когда тот не дал рук, припал лицом к его домашним туфлям. «Она умерла, умерла!» – восклицал он беспрерывно.

– За это не пристало благодарить врача, юноша! – возмутился маэстро Маццео, безуспешно пытаясь вырвать из рук Руджьери полы своей одежды. Его восклицание, достигнув слуха молодого человека, заставило того замолчать. Растерянный, он несколько мгновений оставался безмолвным и неподвижным, а потом поднял голову и пробормотал смущенно:

– Я не благодарить вас пришел, а... – тут, запнувшись, Руджьери опустил глаза и принялся разглядывать носки домашних туфель, которые он только что пылко целовал. Медик ждал, и Руджьери, сам не вынеся тишины, с решимостью отчаяния продолжал: – Я пришел умолять вас о помощи и – не отпирайтесь! – я знаю, что вы способны помочь. Я жить не могу и не хочу теперь, когда угасло сияние ее глаз...

Признание вызвало новую вспышку гнева у маэстро Маццео.

– Я не торгую ядами! – сурово ответил он. – Обратитесь к аптекарю или лучше – к тем злонравным женщинам, имена которых всем известны, а на самом деле имя им одно на всех: ехидны смертоносные...

Руджьери покачал головой, отрицая догадку врача. Теперь его голос звучал устало и тускло, без выражения, и такими же стали его глаза.

– Я не прошу у вас яда. Вот, – молодой человек вынул из-за пазухи пузырек темного стекла, – я запасся им загодя, еще во вторник, когда увидел мадонну Катерину утром в достойном храме Санта Мария Новелла... это была последняя наша встреча... я понял, я почувствовал это...

– Мадонну Катерину? – перебил его медик. – Вы говорите о покойной Катерине ди Гизольери?

Руджьери кивнул.

– Я должен рассказать вам...

– Я не нуждаюсь в ваших рассказах, юноша, но если уж без этого не обойтись, сядьте-ка в кресло и выпейте вина, а потом говорите себе... – проворчал маэстро Маццео.

Руджьери Руффоло увидел Катерину Лонго, когда она шла в церковь в сопровождении няньки и служанок. Легкая поступь, невесомый тонкий стан, небесное сияние глаз на бледном личике, обрамленном золотистыми локонами – красота ее поразила юношу в самое сердце. Он последовал за ней в церковь и, вопреки своему обыкновению, остался до конца святой мессы, а после, стараясь не привлекать к себе внимания, проводил красавицу до дверей дома ее родителей. Все это время он был не в силах отвести взгляд от ангельски прекрасной девицы, позже – не мог отделаться от преследовавших его сладостных видений, так что к ночи он был влюблен бесповоротно. И, увы, безнадежно. Расспросив приятелей, Руджьери выяснил, что прекрасная Катерина просватана уже за почтенного Бертольдо ди Гизольери, а к тому же отличается набожностью и благочестием и настолько преисполнена добродетели, что, несомненно, принесет супругу в дар свою невинность совершенно нетронутой, да и после едва ли удастся склонить ее к нарушению супружеских обетов...

И всё же счастье манило несчастного юношу, и он устремился к нему, как устремляется безмозглый ночной мотыльк в пламя свечи. Так уж устроен человек, что в юности голос сердца звучит несравненно громче голоса разума, если тому и удастся промолвить несколько горьких, но правдивых слов.

Той же ночью Руджьери тайком проник в сад, окружавший дом Лонго и дождался, когда Катерина, по обычаю мечтательных юных дев, вышла на балкон. Она была прекрасна в легком ночном одеянии, едва скрывавшем ее невинные прелести. Распушенные локоны были небрежно рассыпаны по плечам, свет луны переливался на них нежными бликами. Лицо ее казалось еще прекраснее, ибо в этот час, под защитой стен родного дома, она не старалась придать ему выражение строгости и неприступности. Руджьери был уже настолько во власти чувств, что не сдержал страстного порыва и вышел из тени лавра, в которой он укрывался, и, протянув руки к своей возлюбленной, поведал о терзающей его душу тоске, о неземном восторге, который переполняет его сердце при взгляде на ее лицо, обещал ей вечную верность, словом, прилежно повторил все те глупости, которые и составляют речи влюбленных – от сотворения мира до наших смутных времен.

Юноша был весьма недурен собой, лицо его пылало жаром вдохновения, голос был искренен и сладок, и к тому же подобных слов никто прежде не говорил воспитанной в строгости Катерине. Сердце ее, подобное дремавшей в ожидании весны почке, не знало еще жизни – и вот словно солнечный луч коснулся его, словно дуновение теплого ветра. Сердце Катерины пробудилось, участь ее была решена в одно мгновение.

– Как вам не стыдно тревожить мой покой? – со строгостью, которая ей самой еще казалась искренней, спросила Катерина. – Ведь я невеста и знаю свой долг. Уходите, пока я не кликнула слуг... – и, чтобы не давать ему повода сомневаться в своей недоступности, девушка ушла с балкона и закрыла за собой дверь.

И Руджьери ушел, удрученный ее холодностью, а Катерина бросилась в постель и не сомкнула глаз до самого утра. Как мелкими стежками вышивают роскошный узор, так по словечку вспоминала она пылкие речи юноши, и к утру душа ее была диковинными цветами.

Несколько месяцев спустя Катерина стала женой почтенного мессера Бертольдо и в течение пяти лет родила ему одного за другим четверых сыновей, а на шестой год умерла.

Всё это время Руджьери видел ее почти ежедневно в церкви Санта Мария Новелла, куда она ходила к мессе. Он видел, как увядали волшебные цветы в ее душе, как по капле,

медленно, но необратимо жизнь покидала первую красавицу города. И в тот день, когда она смогла пойти к мессе в последний раз, Руджьери тоже видел ее и понял, что это их последняя встреча. Неподвижные глаза, окруженные серыми тенями, скорбная складка некогда свежего и румяного, а теперь – высохшего бледного рта, тусклые волосы, уложенные в замысловатую прическу, сколотую драгоценными булавками и покрытую дорогой прозрачной фатой. В городе говорили, что мессер Бертольдо уморил молодую супругу слишком страстной любовью, но Руджьери знал, что Катерина умерла восемнадцати лет от роду от любовной тоски. Об этой тоске ежедневно твердили ему небесно-голубые глаза Катерины, чьи безмолвные речи были яснее ясного.

– И тогда я купил яд и стал ждать, находясь как бы между жизнью и смертью, и ждать мне пришлось недолго. Двух дней не прошло...

– Мадонна Катерина умерла сегодня на заре, – подтвердил маэстро Маццео. – Спасти ее было невозможно, а причина ее болезни и смерти названа вами правильно.

– Я немедленно принял бы яд, но одна мысль остановила меня: Катерина прожила отпущенный ей срок так добродетельно и чисто, что, несомненно, принята в рай. Став самоубийцей, я потеряю возможность соединиться с ней. Если брэнная жизнь без нее так невыносимо горька, какова же будет вечность? Меня не пугают адские муки: самая жестокая мука уже истерзала моё сердце при жизни. И вот, размышляя об этом и всё более отчаиваясь, я случайно услышал разговор... К чему тянуть? Я знаю, что вы можете помочь мне, так помогите!

– Увы, юноша, – пожал плечами медик. – Я не воскрешаю мертвых.

– Нет, нет, я знаю, вы можете нечто другое. Вы знаете, что мой отец богат, я заплачу сколько скажете, а если нет... Если нет надежды – что ж, я умру, но я умру здесь, от яда, и пусть на вас падет обвинение в моей смерти, и так уже много подозрительного говорят о вас в городе, иначе откуда бы мне знать!..

– Поверьте, юноша, у меня действительно нет средства помочь вам. Его не существует, поймите.

– Сейчас проверим... – мрачно сказал Руджьери, вытаскивая кинжал. – Вы можете мне обрести Катерину, или я убью вас, а потом и себя. Мне терять нечего.

– Если бы я изготовил семь одинаковых карт нашего города и положил бы их одну на другую, вы смогли бы представить себе, как обстоит дело с семью городами, но на самом деле их не семь. Их число бесконечно, и вся тонкость в том, чтобы попасть... в нужный город, понимаете ли вы меня, юноша?

– О да, я понимаю, но что изменится? Карты одинаковы, города – тоже. Так ведь? И если моя Катерина страдала и умерла не единожды, а семь раз... или бесконечное количество раз... разве это может облегчить мою скорбь о ней или утолить мою жажду счастья?

– А теперь мы подошли вплотную к следующей тонкости, которую следует непременно иметь в виду. Мы говорим о картах, начертанных на пергаменте. Картограф рисовал их, имея в виду сделать одинаковыми. Но... тут дрогнула рука, тут немного изменен состав краски, а тут пергамент оказался другого качества. Понимаете ли вы?

– Да... но...

– Даже в таком сравнительно простом деле, как изготовление карт, таится возможность возникновения множества отличий. А представьте себе город... Люди... здания, деревья,

вода источников, самый воздух, наконец, с населяющими его мельчайшими... впрочем, вам это ни к чему, юноша. Но представьте себе, сколько отличий могут содержать многочисленные копии города!

— И что мне до того? Как это может мне помочь?

— В одном из городов отец прекрасной Катерины мог страдать приступом геморроя в тот день, когда почтенный мессер Бертольдо ди Гизольери решился просить руки его дочери — и вот жених отвергнут...

— О... — растерялся Руджьери. — Неужели такое возможно?!

— Еще как возможно, юноша. Вы не в силах представить себе, сколько всего возможно, если речь идет о бесконечном множестве отражений города...

— Я понял! — вскричал Руджьери. — Где-то здесь же, в этом же самом месте, есть... та карта... то отражение... место, в котором Катерина не вышла замуж за мессера Бертольдо и не умерла от тоски... Но... — взгляд Руджьери стал растерянным, плечи сгорбились. — Но даже если такое место есть, как мне попасть туда? Ведь я здесь...

— А это уже мое дело, юноша...

Семь свечей поставлены ровным кругом, семь карт легли одна на другую — медик укладывал их, чуть смещая, поворачивая на едва заметный глазу угол.

— Вы же говорили, что городов больше?... — прошептал непослушными губами Руджьери, бледный от волнения, но с решительным блеском в глазах.

— Тссс! Не мешайте мне, юноша. Вы же видите — это не города, это всего лишь карты, используемые как подобию... впрочем... чтобы вам было понятно: подобие может быть не только у предмета, но и у любого свойства его, даже у количества. Таким образом, в данном случае мы используем карту как подобие города, а число семь — как подобие истинного числа городов. А теперь заткнитесь и не отвлекайте меня, потому что вам, может, и незачем возвращаться домой, а я хочу встретить рассвет в собственном доме, а не в неведомом краю божьего мира...

— Стойте! — воскликнул Руджьери, хватая за руку медика, уже готового распахнуть дверь. — Если есть другие города, значит, есть и другие... другие я... другие Руджьери Руффоло. И, может быть, сейчас я выйду — и за первым же углом нос к носу столкнусь с самим собой, что тогда?

— Вам следовало раньше подумать об этом, — проворчал маэстро Маццео. — Несетесь сломя голову, даже не зная дороги... Послушайте, такого случиться не может. В тот миг, когда вы перейдете границу между городами, ваш двойник, где бы он в этот миг ни находился, сам того не ведая, тоже ее пересечет — в обратном направлении. И вы окажетесь вместо него там, а он — вместо вас здесь. Поняли? Ступайте, — и медик толкнул дверь.

— Стойте! — еще громче вскричал Руджьери, хватаясь за массивное кольцо и удерживая дверь. — А если я... который там... если он счастлив, если... из объятий Катерины он попадет сюда...

— А вам не всё равно?

— Нет, — решительно тряхнул головой молодой человек. — Я не смогу наслаждаться счастьем, зная, какой ценой оно оплачено. Ведь это всё равно что я... самому себе... самого себя... понимаете?

– Я-то понимаю, – невесело ухмыльнулся маэстро Маццео. – Рад, что поняли и вы. Теперь видите, что у меня действительно нет средства помочь вам?

Руджьери задумался, не выпуская из рук дверного кольца.

– Вы говорите, что городов – бесконечное число? И как может быть город, в котором Руджьери Руффало женится на Катерине Лонго, точно так же... да! Точно так же может быть и город, в котором Руджьери Руффало знать не знает о ней и... и ничего не потеряет, оказавшись на моем месте, ведь правда? И значит, всё что мне нужно – это выходить из этой двери и входить в нее, выходить и входить... пока я не окажусь в нужном месте...

– Теоретически... заметьте, юноша, теоретически это возможно. Но сколько времени уйдет на то, чтобы найти нужное место?

– А это уже мое дело. Я буду искать.

Год и семь месяцев спустя, в дождливую зимнюю ночь, Руджьери Руффало без стука вошел в тайную дверь дома маэстро Маццео делла Монтанья.

Медик подождал – но скрип не повторился, Руджьери не собирался выходить наружу. Только шорох одежды по каменной стене... Вздохнув, медик поднялся из-за стола, заваленного книгами и свитками, привычно поднял руку, отводя в сторону пыльное чучело крокодила, болтавшееся посреди комнаты, и выглянул в коридор.

Руджьери сидел на полу, прислонившись спиной к двери. На лице его застыло выражение последнего отчаяния, куда более безнадежного, чем год назад.

Вытянув промокшие ноги к огню, гость горбился в кресле, обхватив туловище руками. Хозяин приблизился к нему с чашей подогретого вина в руках.

– Давно вы не появлялись. Я уже опасался, что сгинули без следа. С вашим-то нравом... Выпейте вина.

Руджьери мотнул головой.

– Выпейте-выпейте. Я и так знаю, что вы безутешны. Сделайте это не ради себя, а ради меня. Вам всё равно, а я не буду чувствовать себя негостеприимным хозяином. Я всё понимаю, поверьте. Я ведь и предупреждал вас: ничего из этого не выйдет. В бесконечном числе городов, несомненно, есть тот, где Руджьери не любит Катерину, а ее сердца и рука свободны... Но найти его – безнадежное дело. Вы хоть представляете себе, что это такое – бесконечность?

Гость упрямо мотнул головой.

– Я нашел этот город. Я убедился в том, что Руджьери оттуда не знает Катерины. Я свел дружбу с его приятелями и... в общем, всё так и есть. И Катерина – свободна... была. Завтра – свадьба.

Маэстро Маццео медленно поставил чашу с вином на стол.

– Вы... нашли? Вам удалось? – всплеснув руками, медик подбежал к своему креслу и, кряхтя, придвинул его ближе к креслу гостя. – Так что же вы... что же вы молчите?! Что с вами? Вам выпала такая редкая удача, просто... А на вас лица нет! Что такое, юноша, что с вами? Или ваша страсть была сильна, пока предмет ее оставался вне досягаемости, а теперь...

Гость вздрогнул и распрямился в кресле, глаза его отчаянно сверкали.

– Неправда! Я сам... сам так думал, и не одной бессонной ночи стоили мне эти мысли... мое раскаяние... отчаяние... Но я знаю теперь, что причина не в этом. Не в том, о чем вы говорите. Причина в другом.

– В чем же? Вы нашли свою Катерину...

– Нет. Это не она. В том-то и дело... Когда я впервые увидел Катерину Лонго здесь, во всем очаровании ее цветущей юности... И я был счастлив снова видеть ее такой – едва распустившийся нежный цветок, не знавший страданий и горя, стубивших здешнюю Катерину... В том-то и дело, в том-то и дело, понимаете ли вы? Я полюбил Катерину юной невинной девушкой с незамутненной душой. Такую же я нашел в другом городе, в том, откуда я сейчас, где моя невеста не сомкнет глаз этой ночью... она любит меня. Она идет замуж за того, кого любит, она счастлива, но я... Я люблю мою Катерину, Катерину страдавшую, Катерину, погибшую от тоски и отчаяния... Понимаете ли вы?.. Та, другая, моя невеста – она чужая мне, и я... почти ее ненавижу.

Гость уронил лицо в ладони и замолчал. Медик, прикрыв глаза, неподвижно сидел, слушая, как судорожные вздохи Руджьери Руффоло переходят в сдавленные рыдания. Ночь текла, огибая сумрачный дом маэстро Маццео делла Монтанья, единственный на всё бесконечное число окружавших его городов.

Десятый Фиванский

Малой влетел в палатку, запыхавшись. Глаза белые, губы дрожат.

Он такой у нас, Малой. Перед боем каждый раз трясется, слышно, как ребра стучат. Не боится – волнуется, как бы не опозориться. Но нынче рановато начал.

А мы были заняты – кто в разведке, кто по хозяйству, – не успели к общей трапезе, и теперь с радостью принимали то, что Марк Сестий, наш диакон, нам припас. А Малой – тот и вовсе непонятно почему неизвестно где болтался.

Арматура только бровью повел. Наш Арматура – всем арматурам арматура, потому и зовут так. И имени не надо, все знают, о ком речь. Сотник наш – строгий. Малой тут же оправил сагум, одернул лорику, проверил меч, шевельнул пыльными пальцами в вырезках калиг. В порядке с головы до ног. Марк Сестий протянул ему Бога.

Малой бухнулся на колени, принял его плоть, с закрытыми глазами проглотил и запил его кровью, с трудом переждав медленный выдох и вдох, выпалил одним духом:

– Они наши братья.

Арматура покосился на него. Марк Сестий поднял бровь. Тит Чудила шмыгнул носом – на дух не выносит ни галлов, ни клятых галльских болот – и спросил за всех:

– Откуда?

– Точно! Мне сказали. Они исповедуют смерть и воскресение Его.

– Братьев развелось! – хрюкнул Чудила. – С-с-с-с-семейка.

Марк Сестий и Арматура одновременно повели в его сторону грозными очами, но Чудила и ухом не повел. Ему-то что? Он тоже арматура, только дураком прикидывается. Дурак, говорит он, в каждом легионе непременно найдется. Это должность такая, как архитектус или медикус. Без дурака нигде не обойдется, и лучше, чтобы должность эту исполнял человек опытный и надежный, проверенный в боях и походах. А не то – жди беды.

– Закончим, – мучительно кротким голосом пророкотал Марк Сестий, он же Доска, наш лагерный префект, в прошлом сотник первой сотни, а теперь диакон наш. – Как этот преломленный хлеб был рассеян по горам и, будучи собран, стал единым хлебом...

И он говорил, а мы слушали, и соглашались с каждым словом.

– Ибо Твоя есть сила и слава в Иисусе Христе во веки веков.

– Да будет так, – подтвердил Чудила.

Чудила и занес к нам это братство. Всем интересно, что там – потом, а уж когда каждый день в это «потом» отправиться готов – интересно стократ! Поля, скажем, Элизиумские – что хорошего? Лучше уж беспмятно куском тухлятины, червям кормом в земле, чем тенью безутешной по полям туманным, мало мы полей истоптали в тумане да под дождем? А Чудила знай заливают: казнен, мол, да смертью самой позорной, рабской, а потом пришел живехонек, и всем так будет, кто в эту байку, мол, поверит. Мы в смех, а Чудила улыбнется так ласково и молчит. День молчит, другой. Мы уж сами за подробностями к нему лезли. А потом видим: не на шутку арматура завелся. Ну и мы всерьез расспрашивать начали. Чудила, он дурак дураком, а только он дурак опытный и надежный, в боях и походе проверен.

И то, про христиан раньше слышали, как тут не слышать, когда от них уже и императоры шарахаться стали. Не принимать на них доносов, и все. Вот если сам сознается, что христианин, тогда да, тогда казнить в обязательном порядке. А так – ни-ни! И что? Когда Чудила рассказывал, как христиане сами на себя доносили в устной и письменной форме и требовали себе казни непременно, мы поначалу от хохота загибались.

А Чудила улыбался. И тут проняло. Ведь как Чудила улыбнется – теплые мурашки в сто ног по коже так и семят. И внутри что-то теплое поднимается, как будто из-за Чудилина

плеча кто-то тебе одному улыбается. И жизни столько – никогда себя таким живым не чувствовал.

А уж когда префект наш Марк Сестий Доска из отпуска вернулся и стали они с Чудилой в два голоса заливать... А между ними словно третий стоит и улыбается. Всё. Через полгода в нашем Десятом Фиванском ни одного человека не осталось, кто не принял бы Бога в хлебе и вине. Так все поголовно и стали братьями, и трибуны, и центурионы, и ала наша конная, и лучники, и пращники, и либрарии с мензорами, и медикус вкупе с архитектусом. Все, сколько ни на есть.

Командиры поначалу опасались, что с дисциплиной это братство покончит на корню. Но Чудила всем хорошо разъяснил, что все наоборот. Наоборот и вышло.

А Малой чуть не плача рассказывает, что понесло его с местными девицами знакомиться. Доска на него, как положено, по-отечески вызверился было, да понапрасну. Оказывается, Малой решил им, бедным, жизнь вечную проповедать. А они, языкатые, ему в ответ на слово – десять, да про то же самое. Такие дела.

Вот и прибавилось нашего семейства... Радоваться бы, да только завтра мы их усмирять должны, а какое на мятежников усмирение? «А чего они? – как сказал Чудила. – А нечего». Разгромить да обвешать пленными все деревья в округе.

Арматура головой мотает, Доска хмурится, Малой с одного на другого взгляд переводит, а глаза у него все больше и больше делаются, против всякой природы человеческой. И только Чудила улыбается – тихо так, ласково. А я сижу, на них смотрю. Во рту еще вкус вина не растаял, говорить не хочется. Только вижу и чувствую, как Чудилина улыбка растет, у него на губах уже не помещается, на мои ползет, да и тут ей тесно, Арматура уже расцвел улыбкой, а за ним и Малой. И только Доска хмурый сидит.

– Что, – говорит, – радуетесь?

– Брось, – говорит ему Чудила. – Сами радоваться учили. Не умрем – жить не будем. Умрем – будем жить. Я вот думал: доживу если – как встречу его? Что скажу? А теперь, выходит, сам с ним приду. Ух ты, какая компания собирается! Мы же все, ребята...

– Ты за себя решай, – отрезал наш диакон. – А вот ему еще и пожить бы.

Малой смутился, насупился. С префектом спорить не приучен, вот и молчит. Тут я говорю:

– Что же, разве он не такой же, как мы? Или ты сам не веришь, чему учил? Тогда завтра выступаем – и думать не о чем. Посмотрим, чего стоят их фрамеи против наших пилумов. Зря, конечно, ты нам головы мутит, баламутил нас зря. Влачиться нам теньями безнадежными по Элизеумским полям, кормить нам червей в болотах лесных. Привычное, оно уже как родное. Кому-то, может, и завтра уже. От чего Малого бережешь? Всем смерть на роду написана.

Доска головой качнул.

– Ну так и нечего торопиться, – и Малому – строго: Кому еще сказал?

А снаружи шум и гул поднимаются. Ясно. Бежал через весь лагерь и всех щедро новостью одаривал. И сам себя застращал до белых глаз.

Встал Доска, оправил амуницию, и вышел.

Арматура – за ним, и мы не отстали.

К утру все на одном сошлись: против братьев мечей не обнажать. Маний Клещ – конной алы командир – заикнулся было о восстании, но Чудила его на смех поднял: или не Сына, послушного даже до смерти, исповедуешь? Дисциплина – вот чем наш Десятый Фиванский силен и славен, потому что нам положено. Мы не какие-нибудь, мы – христиане.

Это у него, конечно, неувязочка вышла: если уж послушные, то присягу – выполнять. А мы в бой идти отказываемся. Но тут уж так на так выходит. Или долг перед отечеством

нарушать, или перед Богом. И Чудила, как всегда, разъяснил все до прозрачности: первое отечество наше – на небесах, и как Бог нам стал братом, то и все, кто ему братья, братья и нам. А раз они, как мы, принимают его плоть и кровь, значит никак нам нельзя на них с оружием.

Как ни крутили, а вышло, что долг наш сегодня – мечи в ножнах оставить. И казнь положенную дисциплинированно принять. С этим все согласились: хоть в малости такой от присяги не отступим.

Утром, как обычно, все построились: когорта к когорте, манипула к манипуле. Знаменосцы и сигнальщики возле командиров – значки и буцины на солнце сверкают. Всадники верхом красуются. Все здесь Лучники и пращники, и трибуны, и центурионы, и ала наша конная, и лучники, и либрарии с мензорами, и медикус вкупе с архитектусом. Все, сколько ни на есть. И Малой наш, смотри-ка, опять трясется, а лицо счастливое. И арматуры с выжженными каленым железом именами. Все.

Так бы, строим, и идти к отечеству своему. Но нельзя. Сначала казнят каждого десятого. А потом опять – каждого десятого. И опять. Управятся ли до вечера?

Так что можно Малого понять: трудная битва у нас сегодня. Но мы победим. Мы – победим.

Никогда еще себя таким живым не чувствовал.

Бусики

Я подарил ей бусики на день рождения.

Вообще-то она просила подарить ей соли. Нет, не просто соли, а такой соли без добавок, без ярких надписей и мельтешащих картинок на упаковке. Ей хотелось соли в картонной коробке с синими полосами, в грубой картонной коробке с разошедшимися краями. Чтобы сероватые кристаллы высыпались из нее на ладонь и легко стряхивались, не оставляя въедливого запаха искусственных пряностей. Она чудачка была, ей всего хотелось не такого, как у всех. Она не нарочно. То есть, я хочу сказать, она не выпендривалась. Она просто такой и сама была. Поэтому мы и встречались с ней. Всё не как у людей, – ворчала её мать, уверенная, что Кларисса помогает мне по математике.

Но мать сама была та еще штучка. Второго ребенка ей не хотели выдавать, собирались отправить на утилизацию: у него была большая вероятность развития синдрома Гойта-Леви. Но мать настояла, забрала малого под свою ответственность. За что и поплатилась ранней сединой и одиночеством. Кому она нужна с больным ребенком?

Мы подпольщики, – гордо заявляла Кларисса, когда мы тайком целовались, для виду не выпуская из рук планшетов. Шёпотом, но гордо.

И она просила подарить ей соль.

Но бусики стоили в три раза дешевле. И мне едва-едва на них хватило. Они лежали рядом в витрине антикварной лавки: картонная коробка с синими полосами, напоказ окруженная россыпью грязно-белого песка, и нитка самых настоящих исполняющих желания бус. Я помнил, она сто раз мне рассказывала, как в детстве мечтала о таких. Но брат болел и у матери не было денег на «баловство».

И я купил ей бусики.

Разве я мог знать?

Она обрадовалась. Ой, бусики... – сказала она, как будто я подарил ей живой солнечный зайчик. – Настоящие...

Я соврал ей, соврал, что соли не было, не нашел. Поклялся, что когда-нибудь, когда устроюсь на работу, обязательно подарю ей пуд чистой соли, и мы съедим его вместе, ложками, прямо из картонных коробок. Она смеялась. На вытянутых пальцах развесила гирлянду прозрачных шариков, дышала на них. Какой ты молодец, – сказала она. – Теперь можно что угодно пожелать – и всё будет. Сколько угодно соли. Согретые ее дыханием, бусики оживали, шарики наполнялись еле заметным свечением. Она выбрала оранжевый, покатала его в пальцах, он разгорелся ярче, стал как крохотный апельсин. Кларисса зажмурилась. Я хочу, – с силой произнесла она, – я хочу, чтобы мы могли жить вместе и не прятаться! Шарик лопнул с тихим мелодичным звоном. Запахло ирисками.

Но дальше дело застопорилось. Она называла по десятку желаний в час, но шарики без дела нарядно светились у нее на шее. Она не тронула больше ни одного – целых три дня. Пока мы не встретили Майку с Кристиной. Майка ревела посреди улицы, Криста стояла рядом набычившись, грозно оглядывая прохожих: не смешно ли кому, что семнадцатилетняя девица прилюдно ревет захлеб.

Майка и Криста знали про нас. Знали с самого начала: мы познакомились на вечеринке у Кристи, и Криста тогда сказала: Что вы пялитесь друг на друга, как маньяки? На вас уже внимание обращают. Идите в мою спальню. Только по одному, и чтоб никто не просёк. Извращенцы хреновы. А что знает Криста, Майка будет знать не позже, чем через три минуты.

И вот Майка ревела посреди улицы, а Криста даже не пыталась ее утешать. Кларисса кинулась к ним, я остановился у рекламной будки, вроде разглядываю флэшки. Майка тут же повесилась Клариссе на шею, не прекращая всхлипывать, а Криста, еще больше нахмурившись, что-то сказала, как будто горькое выплюнула. Кларисса постояла с Майкой обнявшись, погладила и похлопала ее по вздрагивающей спине.

Потом мы шли по аллейке, оба засунув руки в карманы, потому что давно заметили: если руки не держать в карманах, они тут же тянутся друг к другу, вцепляются, переплетают пальцы... и тут всегда как из-под земли выскакивает какая-нибудь бабушка, мы отпрыгиваем друг от друга, как ошпаренные, а бабушка долго и пристально смотрит нам вслед.

И вот мы шли, втиснув руки в карманы, а потом Кларисса вытащила правую руку и нащупала зеленый шарик. Он весело тренькнул, лопаюсь в ее пальцах, и от лимона и перца защищало в носу.

Целый месяц из Кристи было слова не вытянуть, а Майка ревела, а потом ревела опять, но улыбка растягивала ее губы до ушей, а у Кристи было лицо человека, чудом выскочившего из-под обвалившегося здания. Анализы отрицательные, – хрипло бросила она, и Кларисса просияла.

Вот видишь, – говорила она мне потом, пока я стягивал белые кружевные трусики с ее твердых коричневых бедер, – вот видишь, бусики настоящие... Кристе ставили Вайсмана. Первая серия анализов... Ммм... Подожди... А потом... Ну, Тими, ну подожди...

Над нами свистели, пролетая, поезда, и, может быть, мы сами сейчас честно зарабатывали рак всех видов и сортов, скорчившись в обнимку в техтоннеле среди переплетающихся полей, под ударами волн и частиц, но где еще мы могли быть уверены, что никто не застукает нас, сумасшедших и извращенцев? И я делал это с ней, я делал это с ней, я делал это. Она этого хотела. Я этого хотел. Мы так хотели этого, что готовы были умереть сию минуту, то есть сразу как только, сразу после... Отсроченная на месяцы или даже годы смерть нас не пугала. Тем более, что мы оба знали, что вместе – открыто, не таясь – не сможем быть никогда. Мы брали то единственное, что у нас могло быть и было. Брали, не приберегая ничего на потом. Никакого «потом» у нас не было. Кроме всего прочего, существовала ежеминутная возможность стать случайной жертвой террористов. Именами в длинном списке. Больше всего нас страшило не оказаться вместе в эту самую минуту.

Итак, шариков оставалось пять из семи: красный, желтый, голубой, синий, фиолетовый. А через неделю остался один красный, и на что она извела остальные, я не знаю. Могу только догадываться.

Кларисса уговорила мать снова принять участие в ежемесячной лотерее для больных с синдромом Гойта-Леви и членов их семей. Мать ругалась самыми неприличными словами, какие только можно услышать от молодящейся брюнетки ее возраста. Потому что раньше, в первые пять лет после диагноза, половина доходов уходила на лотерейные карточки. Но Кларисса упростила мать купить еще разик – всего одну! И Ланселот, крошка Лэнни, пятнадцатилетний паралитик, отправился по бесплатному приглашению на полный курс лечения в известный медицинский центр.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.